

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА **Р** БОЛЬШИЕ КНИГИ

Исай  
Калашников

РАЗРЫВ-ТРАВА

◆  
НЕ ПОЛЕ  
ПЕРЕЙТИ

« А З Б У К А »





Русская литература. Большие книги

Исай Калашников

**Разрыв-травы. Не поле перейти**

«Азбука-Аттикус»

1970, 1982

УДК 821.161.1  
ББК 84(2Рос-Рус)6-44

**Калашников И. К.**

Разрыв-трава. Не поле перейти / И. К. Калашников — «Азбука-Аттикус», 1970, 1982 — (Русская литература. Большие книги)

ISBN 978-5-389-24693-5

Исай Калашников, уроженец бурятского села, после церковной реформы XVIII века заселенного старообрядцами – семейскими, стал известен на всю страну после публикации эпического романа «Жестокий век» (1978), повествующего о жизни Чингисхана. В другом своем романе, «Разрыв-трава» (1970), писатель также обращается к истории, но к истории более близкой и более личной. В центре повествования жизнь старообрядческого семейского села в первой половине XX века – сорок лет, равные количеством потрясений, выпавших на долю современников, целой эпохе. Та же тема поднята и в последнем романе Исаия Калашникова, впервые опубликованном уже после его смерти в 1999 году, – и вновь писатель мастерски увлекает читателя в перипетии жизни своих героев, доказывая, что в истории не существует тем больших и малых, что мера всего – человек и его место в мире.

УДК 821.161.1

ББК 84(2Рос-Рус)6-44

ISBN 978-5-389-24693-5

© Калашников И. К., 1970, 1982

© Азбука-Аттикус, 1970, 1982

## Содержание

Разрыв-трава	6
Пролог	6
Часть первая	10
I	10
II	12
III	16
IV	20
V	24
VI	28
VII	31
VIII	35
IX	38
X	45
XI	51
XII	58
XIII	63
XIV	65
XV	68
XVI	73
XVII	75
XVIII	78
XIX	80
XX	87
XXI	90
XXII	93
XXIII	96
XXIV	102
Часть вторая	106
I	106
II	111
Конец ознакомительного фрагмента.	113

# **Исай Калашников**

## **Разрыв-трава. Не поле перейти**

© И. К. Калашников (наследники), 2023

© Оформление. ООО «Издательская Группа

„Азбука-Аттикус“, 2023

Издательство Азбука®

\* \* \*

# Разрыв-трава

## Пролог

Скоро будет неделя, как слег Назар Иваныч. Знал: невозвратно ушла силушка, смерть стоит в изголовье и тихо ждет своего часа.

Лежал он на старой деревянной кровати, на той самой, где родился. На ней и отец помер, и дед...

В избе было холодно. Стекла обросли рыхлым льдом и почти не пропускали света, густой сумрак скрывал и передний угол, и куть. Холод вползал под овчинное одеяло, студил ослабевшее тело. Скрюченными пальцами Назар Иваныч держал одеяло у бороды, свитой в помело, и шарил взглядом в темноте переднего угла, там, где едва угадывалась божница, шевелил сухими губами: «Мать Пресвятая Богородица, заступись перед Всевышним за меня, грешного». А рядом со словами молитвы текли мысли суетные, земные и неизбывной тоской томили душу. Видел всю свою жизнь, и до того она маленькой, коротенькой оказалась, что всю ее охватывал одним взглядом – от смерти отца до этого часа.

Он рано помер, батька-то. Хворый был, надорвался в молодости, да так и зачах, будто колос, прихваченный ранними заморозками. Перед кончиной говорил малолетнему Назарке: «Прости, сынок, не сподобил Господь оделить тебя по-людски». От деда батьке досталось справное хозяйство – не удержал в немощных руках, растерял по крохе. Оставил после себя эту избу – старую, срубленную еще в то время, когда мужики пилы не знали, коровенку с телком оставил, кобылу охромевшую.

Другого бы с таким хозяйством нужда в бараний рог свернула, а он, Назар, ничего, сумел оклематься, стать на ноги крепко. Помог Господь. Баба попалась добрая – ловкая, сильная, на работу зарная. В супряге с ней тащил, бывало, и то, что двум мужикам не под силу. Жизнь стала налаживаться. Дом новый, пятистенный срубил, лошадей завел хороших, сбрую справил. Сыновья начали подрастать и один по одному рядом подпрягаться. Четырех сынов принесла Наталья, дай ей Бог царство небесное...

А не вышло жизни сытой, беспечальной, знать не судил Господь. Началась война с германцем, потом ни с того ни с сего царя сковырнули. Царя не шибко жалели. Было у семейских давнее, застарелое нелюбие к царям державным. За веру старую, истинную натерпелись от них бог знает сколько. По первости по всей Расее-матушке, как псов бездомных, гоняли, канали-маяли со злобой неуголимой, а позднее – баба подлая, Катька-государша, вытурила их за студеное Байкал-море. Через всю землю русскую, через горы крутые, через леса дремучие гнала непокорные, Богу верные семьи... С того и – семейские. Посадила на земли скудные, суходольные – хошь живи, хошь помирай.

Выжили. Все горести-напасти вынесли, веры праведной не сменили, обычаев древних не порушили. На земле, по`том и слезами сдобренной, теперь растут хлеба богатые. Господь все видит, помог утвердиться, силу обрести. Может, за те муки, за те слезы и подсек царский корень.

И все бы ничего, да без царя осатанел народишко, взлютовал, как с цепи сорвался, и пока-тилась по земле, закрутилась кровавая кутерьма. Не обошла стороной, не минула та кутерьма и деревню Тайшиху. С гогом, свистом, стрельбой налетела казачня атамана Семенова и ну шастать по дворам, по амбарам, тащить все, что поглянется, а скажи слово поперек – шкуру плетью снимут.

У него в ту пору было три добрых коня. Казаки их оседлали, повели со двора, оставив взамен двух запаленных, загнанных коняг. Пробовал не давать – куда там! Отшвырнули с дороги,

как мешок с мякиной, нагайкой по заду полоснули. От изгальства такого, от горя помутился у него рассудок. Кинулся на казаков с кирпичом в руках. Не успел ударить. Скрутили руки и так уделали, что полгода кровью харкал. С тех самых пор вся середка нездорова, отбили окаянные. «Через них, душегубов, раньше срока в могилу схожу».

А помирать неохота. Еще бы жить да жить... Прадед Ероха до ста лет дотянул. Знаменитый человек был. Сказывают, мог на спор полведра самогона выпить и пройти, не оступаясь, по одной половине. В шестьдесят – быка кулаком сваливал, до глубокой старости в самые лютые морозы шапку не надевал. Дед в него. Был буен нравом, любил ввязываться в разные драки и свары. И голову прошибали, и ребра ломали, а все же восьмой десяток ему пошел, когда призвал Господь. Батка выродился не таким могутным. Но, гордясь, что ерохинского корня, любил людей удивлять. Надорвался, поднимая просмоленный кряж... Помня об этом, он, Назар, силу свою зря не растрачивал, решил, что если ерохинского рода, то жить ему долго. Не пришлось... «А может, еще оклемаюсь, подымусь», – подумал с робкой надеждой.

У крыльца проскрипел снег. Кто-то подергал примерзшую дверь, не смог отворить, стукнул ногой. Дверь отскочила от косяков, распахнулась. В избу с беремцем дров вошла Настя, дочка Изота, соседа. Она затопила печь, принялась мыть посуду. Споро работала Настя, без шума и лишних разговоров. Хорошая девка выросла у Изота. Чем-то походит она на покойницу Наталью. Та в молодости была такой же полногрудой, краснощекой, так же вот, без звона и бряканья, умела обиходить дом. Берег ее, не лупил ремнем или вожжами, как другие мужики делают, а помирать приходится в пустом доме, без женского присмотра.

Казаки-то не над ним только изгалялись, редко какой двор обошли, мало кого не тронули. Сильно озлобились мужики, сгуртовались в партизанский отряд. В тот отряд пошли и все его парни. Старшему, Макарьше, шел тогда двадцать второй, младшему, Максюхе, – только пятнадцатый.

Пощипали мужики казачню подходяще, а те японцев, басурман коротконогих, привели. Запылала Тайшиха с обоих концов. Назар успел со скотом в лесу спрятаться, но пятистенки новый со всем накопленным добром, амбар с хлебушком сгорели. И Наталья сгорела. Не могла добром попуститься, спасти в огонь кинулась...

Старший, Макар, с войны не вернулся, убили его японцы под Зардамой. Игнат, Корнюха и Макся весь восток прошли, столкнули японцев в море, вернулись домой, а у него все хозяйство в разоре. Один из семеновских коней сразу же издох, другой еле ноги таскает – что на нем наработаешь? Парней женить, выделять надо – что выделишь? Помытарились они без малого четыре года, прибытков никаких, на злосчастье, неурожай за неурожаем случался в те годы, совсем разорились. Отправил их на отхожий промысел, копейку добывать...

От размышлений этих отвлекла Назара Настя. Чай заварила, подала стакан на блюдце. Стакан в его руках ходуном ходил, чай расплескивался на постель. Давно ли ворочал этими руками пятипудовые мешки... «Господи, за что покарал меня?» Из своих рук, как маленького, Настя напоила его. И кашей с ложечки накормила.

В избе стало тепло, и он столкнулся с волосатой, словно бы замшелой груди одеяло, повернулся на бок. Лед на окошках высветлился, с подоконников на пол потекла вода.

– Дядя Назар, я сон видела: навсегда остались ребята в городе. – Настя глядела на него с настороженным ожиданием.

– Пустое... Куда денутся от хлебоборбства, от земли?

О парнях его каждый день разговоры. Оба ждут их не дождутся. Настюха невестится, хотя и не хочет вида показать. Кто ей приглянулся – Игнат или Корнюха? Макся-то не подходит, молодой еще, и нельзя ему раньше старших жениться. Приедут – разберутся сами. Только бы не избаловались, не запутались в сетях нечестивого. Жизнь-то вон какая вертячая, беспутная стала, непотребства в ней не менее, чем гнили в болоте. В самое нутро семейщины змеей вползает богопротивная новина, подтачивает стародавние устои. Настюхин брат, Лазурька, привез

с войны бабу стриженую. Стыда не ведая, ходит она в мужних штанах, перед образом Господним крестом себя не осеняет. Сам Лазурька табачище жгет. Бедный Изот принужден кормить сына и невестку из особой посуды, вроде басурманов каких. Случись такое в старые времена – Лазурьке бы ноги повывергали, а его супружницу в речке, как поганую суку, утопили. Теперь мужики молчат, будто ничего не замечают, а недавно его к власти допустили, председателем сделали.

Когда Настя вышла кормить скотину, перекрестился на иконы, хриплым шепотом попросил:

– Господи, не дай затвердиться окаянству, опали гневом своим праведным семя неверья и разврата.

В посветлевшем сумраке переднего угла тускло поблескивала позолота старых икон, но ликов святых разглядеть было невозможно, и от этого тяжесть на душе Назара Иваныча увеличивалась. Надо было затеплить перед божницей свечу, но самому не добраться до переднего угла, а Настя, должно, до вечера не придет.

Но она пришла раньше. Не успев закрыть за собой дверь, закричала:

– Приехали! К Тараске подвернули! Свои манатки снимает с воза Тарас.

Он хотел подняться, но не смог. Настя подскочила к нему, усадила. В углах его глаз копилась слезы и сползали вниз по бороздам морщин.

– Поддай мне, доченька, рубаху. Там она...

Из сундука Настя достала косоворотку красного сатина, надела на него, застегнула все пуговицы неверными, торопливыми пальцами.

Взвизгнули ворота, во дворе послышались осипшие, простуженные голоса. Настя припала к окошку, продула во льду кружок.

– Распрягают... Ой, господи, идут! – она бросилась в куть, вернулась, одернула курмушку, поправила платок и остановилась у кровати.

Сидеть Назару Иванычу было трудно, он быстро изнемог. Дверь с белыми полосками инея в щелях заколыхалась, словно отражение на беспокойной воде, поплыла. Но он собрал все силы, чтобы не упасть: ребят надо встретить, как подобает отцу.

Парни вошли в избу, стуча мерзлыми обутками, остановились у порога, сдернули шапки, чинно, неспешно перекрестились. От одинаковых дубленых полушубков сизоватым дымком струился морозный воздух. Эх и парни же у него! На плечах Игната полушубок чуть не лопается, широк в кости, матер, весь в ерохинскую родову. И борода у него совком, как у всех ерохинских. А Корнейка-то как раздобрел, он будет, пожалуй что, помогутнее Игната. О Максюхе этого не скажешь. В росте не прибавил, не окреп в кости. Война его, зеленого, замотала, не дала вырасти.

– Раздевайтесь. Настюша, потчуй чем-нибудь. – Он лег. На землистом лице расправились морщины; в глазах, старчески линялых, затеплилась голубизна.

Средний, Корнюха, скинул полушубок, повесил на гвоздь, обернулся. Назар Иваныч обомлел. Сразу-то, из-за поднятого воротника полушубка, он и не заметил, что подбородок у Корнюхи голый, как бабья грудь. И у Макси тоже... Господи боже мой!

– Поди сюда, Корнейка!

– Чего, батя? – Сын наклонился над ним, опираясь руками о край кровати. В синих глазах – тревога и жалость.

– Где твоя борода?

– Ах это... – Виногато моргнув, Корнюха провел ладонью по подбородку. – Неловко, батя, с бородой, просмеивают.

– Нечестивцы! – слабой костистой рукой ткнул ему в нос. – Игнат!.. Ты куда смотрел?

– Я им говорил...

– Говорил! Ишь что – говорил! По сопатке бить надо! По харе бесстыжей!..



Корнюха сделался красным. В смущении теребил он чуб и переводил взгляд с братьев на Настю. Бубнил простуженное:

– Каюсь, батя. Не буду больше. Думал: какая беда...

– Замолкни, окаянный! – голос у Назара Ивановича осип, будто ему кто горло сдавил. – Деды наши веру через все пронесли чистой... незапятнанной. Этим... род свой сохранили. В ней сила... крепость. Поручите – не защитит Господь...

Говорил он все тише, задыхался. Корнюха, жалея его, попросил:

– Помолчи, батя, передохни.

– Пропадете! – Назар Иваныч приподнялся на локте. – Захлестнет, изничтожит вас злоба и низость. Дети... ваши... погрязнут в слепости духовной... В грехах тяжких. Род наш рассосется, сгинет в неверии. Блюдайте старину, блюдайте! – Он задохнулся, упал на подушку, сверкнув белками глаз.

Макся зачерпнул в кадushке воды, поднес отцу. Лязгнув зубами по железу ковша, Назар Иваныч сделал глоток, затих. Корявые пальцы его, похожие на корни старого кедра, слабо мяли складки одеяла. Под ногтями копилась, густела землистая чернота.

Все молчали. В тишине шелестел лишь судорожный, испуганный шепот Насти:

– Господи... Сусе Христе...

Руки Назара Иваныча дернулись и замерли. Еле слышно он проговорил:

– Ничего не вижу. Темно. Душно. – Голова сползла с подушки, запрокинулась, торчком встала борода, нижняя губа отвалилась, обнажив желтые крупные зубы.

## Часть первая

### I

Поземка слизывала с могильных холмиков снег и белыми космами стлалась по полю. Почерневшие кресты стояли вкривь и вкось, напоминая обгорелые, мертвые деревья. Темный, как все другие, со снегом, набитым в щели, стоял крест и на могиле матери. Когда ребята вернулись с войны, отец приводил их сюда.

Они нарвали голубых подснежников, положили на холмик. Могли ли думать тогда, что так скоро придется копать рядом еще одну могилу... Игнат вздохнул, глянул вниз, на село, залегшее в неглубокой ложине. И там мела, крутила, гнала потоки снега поземка. Дома, казалось, плыли в белой кипени и никак не могли уплыть от этой сопки с черными крестами.

Камнем звенела под ломом мерзлая земля, от нее откалывались мелкие кусочки, сыпались под ноги. За спиной скреб лопатой Корнюха. У края ямы, спиной к ветру, сидели на корточках Тараска Акинфеев и Лазарь Изотыч, или попросту Лазурька. Тараска хлопал рукавицами, согреваясь, и, как всегда, языком трепал, балаболил о чем-то, скаля белые зубы. Лицо у Тараски круглое, пухлое и красное, будто снегом натертое, глазки крошечные, усмешливые, с простоватой хитрецой. Игнат прислушался к разговору.

– ...гладкая, круглая, верткая, бравая, словом, бабенка. Домик свой, с другой стороны, и машина швейная, и копейка водится. А я ей все равно – нет! Не могу, говорю. Гонять на базар каждый божий день – раз, в тарелочках кормиться – два. Тоска, не жизнь. Дома у меня кладовая под боком. Захожу, отсекаю полпуда мяса, заваливаю в чугунок. Сварилось, за один присест заметаю. Дышать тяжело, а на душе – теплынь, благодать...

Игнат с силой ударил ломом. Брехун, ботало. О жратве да о женитьбе, других разговоров у него нету. За годы, что с ним на заработках были, надоел хуже не знаю кого. Хы... «Гладкая», «бравая». Нашел гладкую! Плоская, как стиральная доска, во рту половины зубов нет. Глядеть на такую и то лихо, а он... Ну ладно, бреши, если охота, но найди для этого другое место. Тварь ты какая или человек?

– ...просится. А я ей: ты что, ошалела? – ввинчивается в уши голосок Тараски. – Шитьем у нас не прокормишься. В поле тебе нельзя: красоту попортишь – ты без выгоды, и я в убытке.

Лазурька усмехался, косил на Тараску недоверчивым глазом. Игнат разогнулся, хмуро крикнул:

– Будет вам базарить! – Протянул лом Тараске. – На, подолби.

Лом перехватил Лазурька.

– Погреться надо. – Он скатился в яму, стащив полами полушубка комья земли и снега.

Чтобы не привязался Тараска со своей болтовней, Игнат пошел меж могил. Ветер трепал бороду, заворачивал воротник, хлестал по голенищам черствой снежной крупой. За холмиками снег закручивался, оседал в сугробы, и они горбились точно так же, как могилы. Сразу не различишь, где просто сугроб, разве что по крестам, но и они не везде уцелели. Многие свалились, лежат тут же, и нет до них никому дела. За кладбищем косогор без снега и травы, гладкий, обструганный ветрами, покато сбегал к пряслам огородов и гумен. Щебнистая земля была нага и мертва, по ней без задержки мчались жидкие ручейки поземки. Над некоторыми домами Тайшихи поднимался дым, ветер заворачивал его и растягивал вдоль улиц. Избы с гривой дыма напоминали Игнату паровозы, бегущие в заснеженную даль. И он с горечью подумал, что жизнь так же вот обманчива; кажется, что она мчится на всех парах к новым станциям, оглянулся – стоит на одном месте, как эти избы, придавленные снегом.

По улице, путаясь в широченном сарафане, пробежала бабенка. С костылем проковылял старик. Рысью промчался мальчонка с ведром. У всех какие-то дела, заботы, хлопоты, все суетятся, мечутся, а того не понимают, что только эта вот полоска земли, голой и убогой, отделяет жилища живых от последнего пристанища мертвых.

В приземистых избах, за бревенчатыми стенами – плачут и смеются, любят и ненавидят. А зачем? Никто не скажет.

Зачем? Первый раз задал себе этот вопрос Игнат много лет назад в такой же вот выюжный день, когда стоял на коленях перед обезображенным телом братухи Макара. Макся и Корней были тогда в другом отряде, они не видели брата мертвым. Ни им, ни батьке он ничего не рассказывал. И не смог бы рассказать...

Когда японцев прижали у Зардамы, Макара снарядили в разведку. Ушел и не вернулся. Через три дня нашли его в сугробе. Макара нельзя было узнать. Ему выкрутили все пальцы, сорвали ногти, сожгли волосы на голове. Замученных видел Игнат и раньше. Но то были люди, которых он знал совсем мало или вовсе не знал. А это братка, мягкий, жалостливый. За что же его так? Какое остервенелое сердце надо было иметь, чтобы дойти до такого измывательства над человеком. Звериная безжалостность ледяным сквозняком прохватила душу Игната. С того самого дня он с подозрительным вниманием приглядывался к людям. Никогда ничем нельзя оправдать убийства человека человеком, а убивают! Почему? За что? Для чего? Сказывают, корень всего звериного в человеке – ненасытная жадность. Ему все время мало того, что есть, зависть червем ест его душу. Он не гнушается ни воровства, ни грабежа. Но кому охота быть ограбленным? Схлестываются две силы, и вспенивается, бьет через край ненависть, и рвут друг другу горло, не зная милосердия, безумея от пролитой крови. Так говорят про это умные люди. Наверно, они правильно говорят. Но почему люди не поймут одного: как бы они ни тужились стать богаче, сильнее, смерть всех выравнивает. От каждого останется только крест да бугорок земли. И то не навечно. Крест рухнет, сгниет, рассыплется в труху, дожди и ветры сровняют с землей могильный бугорок.

– Игнат, иди, взгляни, – позвал его Корнюха.

Он подошел к могиле, заглянул в нее, махнул рукой – хватит.

– Тогда пошли. – Лазурька оперся руками о край ямы, одним махом вынес некрупное, подбористое тело свое, подал руку Тараске. – И тяжел же ты.

– А что же, тело у меня есть! – Тараска с пыхтением выбрался наверх.

– Брюхо у тебя богатое. Не брюхо, а кадушка. – Лазурька забросил на плечо лом, стал осторожно спускаться с косогора, за ним, семена короткими ногами, покатился Тараска. Корнюха, еще горячий от работы, с заиндевелым чубом, в расстегнутом на груди полушубке остановился напротив Игната, хотел что-то сказать, но тут же передумал, быстро пошел вниз.

Гумнами, по сугробам прошли в свой двор. Под ветхим сараем белела груда крупной щепы. Тут мужики вытесывали гроб из домовины. Эта домовина – толстое ошкуренное бревно – лежала под сараем с тех пор, как Игнат помнит себя. По старинному обычаю, у каждого хозяина хранится такая домовина. У него может не быть ни коня, ни коровы, но домовина есть.

В избе было жарко, душно. Покойник лежал под образами. Чадили восковые свечи, бросая на его лицо неровный желтый свет. Полукругом теснились старики и, задрав нечесанные бороды, отпевали покойника. Из приглушенных, недружных голосов выпирал бас уставщика Ферапонта.

– Да святится имя твое, да приидет царствие твое, – старательно вытягивал Ферапонт и украдкой сдувал с сизого, пришлепнутого носа капли пота. От усердия он разопрел, рубаха липла к круглой спине, взмокшая борода висела сосульками.

Когда стали выносить гроб, бабы, до того молчавшие, разом заголосили, запричитали пронзительно и тоскливо. Корнюха засопел, всхлипнул, закусил губу, низко наклонил голову. Игнат до боли сжал челюсти. В истошном завывании баб ему чулось лицемерие. Не горе, не

страх перед смертью заставляет их выть, а обычай, привычка. Пойми они хоть на минуту, что такое жизнь и смерть, от ужаса вылупили бы глаза и подавились криком.

Ветер стал еще сильнее, злее. Он обжигал лицо, прохватывая сквозь полушубок. На ветру бабы перестали плакать. По улице прошли торопливо, отворачиваясь от ветра. Обогнав процессию, ребятишки первыми вскарабкались на косогор, столпились у могилы.

– Кыш-ш отседова, пострелята! – замахал на них руками Ферапонт.

На пеньковых вожжах гроб опустили в яму, и бабы опять запричитали, но уже не так голосисто, как дома. Мужики, намерзшись, живой рукой столкнули землю в могилу, поставили крест и заспешили в тепло. Игнату было жалко этих суетливых людей, себя, батьку, но жалость не рвалась наружу со слезами, она непомерной тягостью наваливалась на сердце. Рядом всхлипывал, вытирал щеки рукавицей Макся. Корней держал в руках шапку, и русский чуб трепыхался на ветру.

Спускаясь с косогора, Игнат оглянулся. Свежий холмик заносило снежком, и он становился неотличимым от других.

## II

В душе Корнюхи недолго было темно и горько. За годы войны и скитаний в поисках заработков он успел отвыкнуть от батьки и теперь без усилий забывал его. Тем более что горевать особенно было некогда: все хозяйство распоручено, коровенка ночует в дырявом сарае, дров – ни полена, батькин конь совсем ослаб. Ладно, что они купили в городе кобыленку, а то бы вовсе замаялись. На Саврасуху и упряжь с телегой потратили без малого все свои заработки. На какие капиталы теперь подниматься?

Невеселый ходил Корнюха по засугробленному двору, раскачивал руками обветшалые заборы и злился неизвестно на кого.

Надо было что-то придумать, а старшой, Игнат, все молчит, о том, как дальше жить, похоже, не очень печалится. И раньше он удалством да бойкостью не отличался, а теперь, после похорон отца, до того тугим стал, что прошибить его ничем невозможно. На одном стоит крепко – порядок дома держит по старинке, как при родителях было. На чужой-то стороне он, Корнюха, и Максимка тоже не только бороды брили, но и табак курить навалились. Там Игнат не перечил, а после похорон достал мешочек с махоркой, вытряхнул в печку на горячие угли.

Тогда ему Корнюха ничего не сказал, смолчал. Но недавно не стерпел... Вернулся из лесу, куда за дровами ездил, проголодался и сел за стол, позабыв сотворить молитву. Игнат поднялся на него, закричал:

– Куда, бесстыдник? А ну вылазь!..

Корнюха, неловко усмехаясь, вылез, перекрестился, снова сел за стол, угрюмо проговорил:

– Ты, братка, по божественной части скоро самого Ферапонта переплюнешь. А какая польза от твоей святости? Одно знаешь – молитвы шептать. Дошепчешь, скоро жрать будет нечего!

Чудно как-то, будто на дурачка или малолетка, глянул на него Игнат, с осуждением качнул головой. Корнюху это и вовсе обозлило, он бы наговорил ему черт-те чего, да помешал Макся. Насмешливо улыбаясь, младший сказал вроде ни с того ни с сего:

– Тараска опять обожрался. Помогал колоть кому-то кабана и так свежинины натрескался, что неделю брюхом мается. С лица весь сменился.

Макся, он завсе так, придумает что-нибудь и брякнет под руку. Спорить после этого уже не хочется. Главное, бухнет о чем-то совсем постороннем, а подумаешь, вроде бы и тебя задевает. Где, язви его, обучился?

Вечером собрались почесать языки все тот же Тараска (живой и здоровый, черта ли ему сделается), Лазурька и Лучка Богомазов. Лучка этот – наипервейший друг Максюхи, хотя и старше его, кажись, лет на пять. В партизанах Лучка был пулеметчиком, а Максюха у него вторым номером. Желторотых япошек и белой сволочи немало они положили.

В черненой борчатке и белой мерлушковой шапке, форсисто сломанной на затылке, Лучка теперь мало походил на лихого партизанского пулеметчика. Во всей его ладной фигуре, в лице с тонким носом и короткой кучерявой бородкой появилась медлительная степенность. А когда пришел Лучка с германской в задрипанной шинелишке, был худой, весь какой-то изверченный, издерганный. Теперь-то ему дергаться неотчего, конечно. Повезло парню. Ушел в зятя к Тришке Толстоногому, а у того хозяйство – дай бог любому. Сволокут Тришку на кособор – все Лучке достанется.

Который уже вечер подряд вели разговоры об одном и том же: сильно обеднел мужик за последние годы, редко кто живет в достатке. Земли пустоует много, пахать не на чем: коней война ухайдакала.

– А как на это власть смотрит? – спросил Макся у Лазурьки. – Мы, к примеру, воевали за нее – должна как-то подмогнуть?

– Должна, – согласился Лазурька. – А чем? Она навроде нас с вами: за что ни хвати – в люди кати. Все разорено, побито, пограблено.

Корнюхе такой ответ не по нутру.

– За что же мы воевали, Лазарь?

– Как за что? – На чернявом, цыгановатом лице Лазурьки удивление. – За волю воевали.

– Ха! За волю... Что мне с твоей воли – в соху ее не запряжешь! – Корнюха слегка стукнул кулаком по столу. – Воли и раньше хватало.

– А что, верно... – поддержал его Лучка. – Земли в Сибири допмна, помещики на шее не сидели. За что же я воевать шел? Жизнь нам сулили новую, совсем не похожую на ту, прежнюю. И ничего пока нету. Как и раньше, пристают с ножом к горлу: дай хлеба. Выходит, власть наша новая, а песня у нее старая: дай, дай, дай!

– Почему бы и не дать? – прищурился Лазурька. – Ты голодный? Нет. Почему же другие должны голодать? Одному жирные щи, другому кашицу из отрубей? За то мы, между прочим, и воевали, чтобы у всех на столе щи были. А ты чего хочешь?

– Не об этом разговор, Лазарь, – мягко, раздумчиво возразил Лучка. – Понять мне надо, куда, в какую сторону жизнь идет, что она мне подготавливает. Про ранешнюю жизнь я только заикнулся, а досказать не досказал. Это верно, что жили раньше почти все в сытости. Но разве только для этого рожден человек, чтобы на пузо свое век работать? Сколько хорошего есть на свете, мужики, чего мы никогда не увидим и не узнаем. Во многих местах мне довелось побывать, разное повидать. Какие на земле города понастроены, какие на ней сады растут. А мы... С малолетства до старости гнемся за сохой. Одна у нас радость – хлобыстнешь в праздник самогона...

– Чего же не остался в тех городах? – засмеялся Тараска.

– Ничего ты не понимаешь! – Лучка поморщился.

– На днях ночевал у меня товарищ Петров из волости, про то же мы с ним говорили. Сказывал он: советская власть все перевернет, перепашет, ничего старого не оставит. – Шаркая по полу, присыпанному жженым песком, Лазурька прошелся взад-вперед, остановился, подпер плечом чувал печки. – Коммуны везде старнизуют. В коммуне все будет общим: кони, коровенки, курицы – вся живность. И кормежка из общего котла.

– Добро, а? – Макся толкнул в бок Тараску. – От коммуны, я смекаю, самая большая выгода тебе будет.

Тараска благодушно улыбался, сыто жмурил хитроватые глаза.



– А как с верой? – спросил Игнат. Он все время молчал, внимательно слушал, крепко сжав в кулаке бороду.

– С верой?

– Ага, с верой, Лазарь Изотыч. С устоями старинными.

– Не знаю, – честно сказал Лазурька и там же, у печки, сел на лавку-ленивку. Свет лампы-коптюхи едва достигал до него, лицо Лазурьки белело пятном, черные глаза беспокойно мерцали. – Новый дом на старый оклад никто не ставит – так разумею. А ты чего, вроде как жалеешь устои старины?

– Нет, радуюсь, – буркнул Игнат и сердито дернул бороду.

– Он боится: зачнут мужики табак курить напропалую и весь воздух спортят, – опять засмеялся Тараска.

– Не клокочи! – с досадой сказал Корнюха. – Неужели будет-таки коммуния? Еще когда воевали, нам про нее талдычили. Мужики не верили, посмеивались.

– Смеяться не над чем, – сказал из темноты Лазурька.

– Как же не над чем? Нас вот три брата, и все разные. А что будет в коммунии? Максьюха верно подметил, у кого брюхо большое, тому – лафа. Получится: когда у котла – равняются на самого обжористого, когда работают – на самого ленивого.

– В партизанах, припомни, на самых трусливых никто не равнялся и еду делили как полагается.

– Сравнил кочергу с оглоблей! Там другое, – мотнул Корнюха чубом. – Там на время, тут на всю жизнь. А еще ребятишки. Скажем, у тебя семья – сам да баба, а Тараска каждый год по ребятенку слепливает. И будешь ты на Тараскину шпану хребет ломать.

– Ну и что? Зато, когда состарюсь, его дети меня прокормят. Вся деревня как одна семья будет.

– Пустое говоришь, Лазарь, пустое, – вздохнул Игнат. – Уж на что крепко держали в руках семейщину уставщики, а и то, едва столкнулась она с безверием, понесла к себе в дом всякую нечисть. А что будет, когда старые устои под корень подсекете? Откачнете человека от Бога – все кувырком пойдет.

– Я бы, к примеру, не стал о старых устоях много думать. Пользы от них немного, а вот тут, – Лучка притронулся к вязаному шарфу, намотанному на шею, – они хомутом давят.

Корнюху тревожило совсем другое. Если Лазурька не брешет, если коммунию установят, нечего пуп надрывать, поднимая хозяйство. Все уйдет на общий двор. А с другой стороны, сам Лазурька в точности не знает, какая она будет, коммуния. Может, придется бежать от нее без оглядки.

Когда мужики стали расходиться, Корнюха придержал у дверей Лучку:

– Тебе работник не понадобится?

– А что?

– Да что... На одной кобыленке вдвоем далеко не ускачешь. Придется нам с Максьюхой в работники подаваться.

– Не знаю. – Лучка сдвинул на брови папаху. – Поговорю с тестем. Одного-то, может, и возьмем, а двоих – нет: сейчас, брат, за работников прижимают.

Закрывая за Лучкой дверь, Корнюха спохватился: с Игнатом не перетолковал, а в работники нанимается – неладно это, в доме должен старший распоряжаться. Хотел тут же и поговорить обо всем, но Игнат сидел за столом, опустив лохматую голову, отрешенный от всего, увязший в своих думах, и Корнюха понял: ничего он сейчас не присоветует.

Позднее, мало-помалу, неприметно для себя Корнюха стал в доме за главного. Надо что сделать по хозяйству – сам, не спрашивая Игната, решает и делает. Игнат, похоже, не замечал этого, а может, и замечал, да не хотел мешать Корнюхе налаживать хозяйство.

Но, как и раньше, Игнат заставлял их отбивать поклоны, запрещал есть скромное в постные дни, не отпускал на посиделки. Вечерами, когда к ним никто не приходил, Корнюха и Макся томились от скуки и наедине зло подшучивали над неожиданной суровостью брата. Строгие правила семейщины казались им дикими и глупыми, и покорялись они старшему лишь из уважения к памяти отца.

Вскоре Макся нанялся в работники к Лучкиному тестю и уехал на заимку. Без него Корнюха совсем было заплесневел, но тут случилось то, чего он никак не ожидал.

Не было дня, чтобы к ним на часок-другой не забежала Настя. Поначалу-то Корнюха к ней не присматривался. Смотреть особо не на что. Кругленькая, справная, конечно, но и других девок бог здоровьем не обидел, поджарую, тонконогую днем с огнем не найдешь во всей Тайшихе. Настя как все, может, только одно и отличие, что больно уж смеяться любит. Чуть что – залилась на всю избу, да так, что не утерпишь, вместе с ней засмеешься. На что уж Игнат строгость на себя напустил, а и он, бывало, блеснет зубами из бороды. Со смехом, с шуточками Настя обихаживала избу, и у них завсегда было чисто, свежо, будто и не холостячили.

Лазурька, заставая у них свою сестру, весело хмыкал, похлопывая ее по плечу:

– Прогадаешь, Настюха. Старайся, не старайся, жениха в этом доме не заарканишь.

Настя и тут посмеивалась.

К каждому из братьев она относилась по-своему. С Максей шутила, смеялась как-то по-свойски, запросто, а с Игнатом – сдержаннее, мягче, с ласковой осторожностью; его же, Корнюхи, вроде как сторонилась, стеснялась, что ли. Иногда раз глянет на него, скраснеет, отвернется, а чаще – прыснет в кулак. Что смешного в нем находит – не поймешь. А если он долго на нее смотрит – теряется. Взяв это на заметку, он стал нарочно изводить ее. Сядет напротив, уставится в лицо и не спускает глаз. Настя заторопится, сделается неловкой и беспрерывно что-нибудь уронит, прольет. Прямо потеха.

Но однажды она не потупилась, не отвела взгляд, и усмешка сама сползла с Корнюхиных губ. Карие, в крапинках Настины глаза смотрели на него с шалым, беспшабашным вызовом, что-то озорное, задиристое появилось в ее лице. Продолжалось это всего секунду, ну две, а для Корнюхи Настя сразу стала другой, совсем не похожей на ту, прежнюю.

Приходила Настя обычно утром, в то время, когда они задавали корм скотине. Садилась доить корову, а потом все вместе шли чаевать. Как-то Настя припозднилась. Набросав в ясли сена, Игнат ушел налаживать завтрак, Корнюха остался чистить двор. Настя прибежала, закутанная в платок, с подойником на согнутой руке, стрельнула глазами в Корнюху, пошла под сарайчик, к корове.

Глянув на обмерзшее, бельматое окошко избы, Корнюха отошел за угол, позвал Настю.

– Хочу кое-что показать тебе.

– Что? – Она остановилась поодаль, придерживая обеими руками пустой подойник. На толстом платке, на пряди волос, свисшей на лоб, белым пухом осел иней. Корнюха облапил ее сильными руками, притиснул к стенке сарайчика. Упал, покатился со звоном подойник.

– Сдурел! Отпусти! Закричу! – зашептала она.

Его губы коснулись тугой, нахолодевшей щеки, и в это время Настя, высвободив руку, схватила его за ухо, больно дернула. Корнюха от неожиданности охнул, ослабил руки. Настя вывернулась, отбежала, поправляя платок, засмеялась.

– Эх ты, даже поцеловать не можешь. – И пошла, вздернув голову. Обернулась, спросила: – А что показать-то хотел?

– В другой раз покажу.

В избе, процеживая молоко через ситечко, Настя сказала Игнату:

– За сараем мне Корнюха штуку показал. Такая чудная!

– Что за штуку? – заинтересовался Игнат.

– Скажи, Корнюха, – ласково попросила Настя.

Сперва Корнюха остолбенел, потом, красный, поспешно схватил со стола лепешку, впихнул в рот и, еле переворачивая, мыкнул что-то непонятное, ткнул пальцем в отдутую щеку – занят, не до разговоров. Игнат терпеливо ждал, пока он прожует. И Настя ждала, посмеивалась.

– Цветок в снегу нашел, – с той же усмешкой сказала она. – Замерзший, а как живой.

Игнат хмуро двинул бровью, подул в блюдо с чаем. А Корнюха, вытирая вспотевший лоб, про себя ругался: «Погоди, чертова девка, я те дам! Тихоня!»

С того дня Корнюха начал искать встречи с Настей наедине, но она увертывалась от таких встреч и все поддразнивала его своей неунывчивостью. До того распалила, что он и о хозяйстве на время думать забыл, и разговоры мужиков о новой жизни стали казаться надоедливыми. Не столько слушал эти разговоры, сколько думал, как бы половчее перехитрить Настю.

Однажды вечером она пришла поставить тесто. Когда уже заканчивала работу, Корнюха накинул полушубок, притворно зевая, сказал брату:

– Пойду побрехать к Тараске, а то сон долит.

За воротами у стены притаился. Стоял, пряча подбородок в тепло овчинного ворота, улыбался, гадая, как поведет себя Настя. На другом конце улицы мерзло простонал журавль колодца, ударились о сруб обледенелая бадья – все было слышно так, будто колодец находился совсем рядом.

Тяжело бухнула дверь, захрустел снег под быстрыми Настинными ногами. Выйдя за ворота, она, не заметив Корнюху, обернулась, чтобы заложить щеколду. Он рывком повернул ее к себе и заглушил губами испуганный вскрик. Настя билась всем телом, как большая рыбина, попавшая в сеть, но вдруг обмякла, нависла на его руки и, когда, задыхаясь, отклеилась от его губ, Корнюха стал быстро спрашивать, ладно ли он целует, однако тут же смолк. Настя стояла непонятно смиренная, уткнулась лицом в его грудь и затихла, замерла.

– Настя...

Плечи ее дернулись, затряслись. Под Корнюхиными ногами беспокойно заскрипел снег. «Не заголосила бы на всю Тайшиху...»

– Настя! – запрокинул ее лицо и понял: она смеется. Сквозь смех выдохнула:

– Переполошил до смерти...

Корнюха вскинул ее, крутнулся на одной ноге. Настя сама на минуту прильнула к нему, поцеловала и отпрянула, будто обожглась.

– Теперь не подходи! – строго сказала она. – И не подкарауливай меня. Знаю, тебе смешки-шуточки. Наловчился в чужих краях девок тискать. А я... Такусенька была и уже на тебя глаза пялила. Знай про это и не лезь с баловством.

Она убежала.

– Хы-ы... – озадаченно протянул Корнюха, помолчал, повторил: – Хы-ы.

В небе колючими стеклышками блестели звезды, в темный горб Харун-горы запахался сошник ущербного месяца. Прокаленная морозом, засугробленная земля молчала, казалось, ждала, что еще, кроме «хы», скажет Корнюха.

### III

По дороге, накатанной до крепости льда, Саврасуха бежала веселой размашистой рысью. Игнат перебирал ослабленные вожжи и вприщурку смотрел на сопки, круглые и белые, тесно прижатые друг к другу, как яйца в лукошке. Солнце лучилось теплом и ярким, режущим глаза светом. Осевшие суметы были осыпаны разноцветными блестками, и в воздухе, еще холодноватом, ощущалась предвесенняя мягкость. Скоро солнце оголит поля и сопки, над ними с гоготом потянутся клинья гусей – туда, за хребты, к своим родным местам. У птиц все просто: прилетели, скрутили гнездо. А тут... В избе, если долго не приходит Настюха, пусто и сиротливо, так и кажется, что не дома они, а на временном постое.

За спиной Игната шевельнулся Корнюха.

– Скоро весна, – не оборачиваясь, сказал Игнат.

Корнюха промолчал, и Игнат повторил:

– Слышь, братка, весна придвигается.

– Ну, весна... – с неохотой отозвался Корнюха.

Игнат примотал вожжи к головкам саней, сел так, чтобы видеть брата.

– Пахать, сеять будем. А там сенокос... Жить дома не придется.

– Это уж так. – В глазах Корнюхи дремала какая-то своя, непонятная Игнату думка, и не хотелось ему, видать, расставаться с этой думкой.

– Видишь, я к чему... За домом догляд нужен, а Настя тоже в поле будет. И вот об чем я кумеаю – жениться мне, что ли? Так ли, иначе ли, а женитьбы не минешь. Зачем же тянуть в таком разе? Тараска вон привел в дом молодуху...

– Жениться? – вскинул голову Корнюха.

– А чего? – Саврасуха перешла с рыси на шаг. Игнат взял в руки вожжи, понужнул ее. – Настя у нас как работник.

– Настя? – У Корнюхи напряглись скулы. – Что Настя?

– Добрая девка она, сердцем ласковая. Может, ее и посватать, а? Изот не должен бы отказать. – Игнат замолчал, заметив, что брат вдруг переменялся в лице и смотрит куда-то в сторону косым сердитым взглядом. – Так что присоветуешь, братка? Других-то девок я путем не знаю, а Настюха, она подходящая. Очень даже подходящая.

Корнюха неожиданно зло хохотнул:

– Ха! Жених выискался!

– Ты чего это? – удивился и обиделся Игнат. – Ты почему со мной говоришь таким манером?

– Как говорить, если твоя башка трухой набита? – вспыхнул Корнюха. – У тебя, жених, одни штаны, да и те с дырками на мягком месте. Жди, пойдет Настя за всякую гольшмоль. О ней даже думать позабудь!

Таким разъяренным Корнюху Игнат видел редко. Эх его разобрало, того и гляди кулаки засучит. Больно уж близко к сердцу принимает недочеты дома – зачем? Бог даст, все наладится.

Дальше ехали молча. Каждый думал о своем. Игнат вздыхал, подстегивая прутиком Саврасуху. Дорога свернула в густой тальник, сани застучали по кочкам, заматались на раскатах, но Игнат все понужал и понужал кобылу. Быстро домчались до Трех Бугров. Не доезжая до разгороженного остожья, Игнат резко остановил лошадь: сена не было. Из-под сугроба черными космами выглядывали гнилые одонья – все, больше ничего. Куда же делся зарод сена, едва початый?

Игнат слез с саней, увязая в черствых сугробах, обошел остожье. Метель засыпала, загладила все следы. Корнюха выдрал из-под снега пласт гнили, отбросил от себя.

– Сволота! Узнаю, кто украл, спалю к чертовой матери!

Тяжело было на сердце Игната, тяжело, больно и горько. До чего докатились люди! Тянут все, забыв о страхе господнем, о совести. Разболтался народ, развратился, страшным и непонятным стал. Жизнь все переворошила, опрокинула, законы старые поломала, а новых не затвердила. Раньше жилось просто. Зимой мужик много ест, много спит, шевелится лениво: силу копит для горячих весенних дней. А коли хлеба недостаток – в работники нанимается к тем, у кого хозяйство справное. В работниках, известно, не мед, каждый старается выжать из тебя побольше, однако и тут какой-то порядок был. Теперь все шиворот-навыворот. Дело, постыднее какого нету, – воровство промыслом стало. Вместо того чтобы своим горбом, своими руками добывать пропитание, людишки озоруют по ночам. У бурят, слышно, пограбили скот, в своей деревне у одного, у другого утянут барана либо теленка. Жаловаться народ опа-

сается. Лазурька, что он сделает? Самого того и смотри пристрелят. Какой уж год скрывается на заимках Стигнейка Сохатый, «заступник» семейщины. Скор на расправу Стигнейка. Чуть что не по нем – красного петуха подпустит. Изловить, говорят, нет никакой возможности, укрывают Стигнейку мужики, одни из корысти, другие из страха: выдашь Сохатого, а дружки-корешки останутся, они житья не дадут. На селе теперь навроде две власти. Одна в руках у Лазурьки, другую Стигнейка держит. Что будет дальше – никак не угадаешь.

Может, и правильно взъерился Корнюха: какая уж тут женитьба... Обождать надо, с силенками собраться. На душе смута и томление, а за работу придется ухватиться обеими руками. Теперь их дела вовсе неважные...

В тот же день вечером Игнат пошел к Харитону Малафеичу Петрову, просить, чтобы помог выбраться из беды. Недолгоблюдали Харитона мужики, прохиндеем считали, однако же чуть ли не все к нему шли – выручи, родимый.

Жил Харитон в новом, недавно построенном доме. Не дом – игрушка. Карниз в кружевной резьбе, ворота и те резные, ставни на окнах веселой голубой краской крашены. Лес еще не успел почернеть, на торцах бревен каплями топленого масла застыла смола. А в самом доме непорядок. Пол затоптан, замусорен, у порога на соломе телок лежит, тут же стоят мешки с чем-то. Прибору никакого. Харитон недавно овдовел, живет с сыном Агапкой, бабью работу оба делать не умеют.

Дома был один Харитон. Узколицый, подслеповатый, с растрепанной сивой бороденкой, в длинной, мукой испачканной рубаше, он раскатывал на столе пресную лепешку. Увидев Игната, бросил работу, ласково улыбаясь, оглядел со всех сторон, удивился:

— Эко что вымахал! Чистый богатырь. Весь в батьку выдался, и лицом и статью. Добрен-  
ный был у тебя батька, дай ему бог царство небесное. — Харитон сложил в крест пальцы, облеп-  
ленные тестом, помахал ими перед носом. — Ба-альшие мы друзья с ним были.

Говорил Харитон тоненьким сипловатым голоском, и вспомнил Игнат, что по заглазью его звали Пискуном.

– Как жизня-то? Денег, поди, приволокли торбу? – с такой же ласковостью спросил Харитон, повел острым носом, будто принюхиваясь. – Ты раздевайся. Сейчас Агапка придет, ужинать будем.

Он вернулся к столу и взялся за скалку.

– Я по делу... – Игнат коротко рассказал, как они остались без корма, и попросил взаймы воза два-три сена.

– Украли! – ахнул Пискун, бестолково закрутился у стола, приговаривая: – Ай-я-я, ай-я-я, напасть какая! Что за язва варначит. Креста на вороту нету... А сена я вам дам, дам, Игнат, как не дать! Сколько надо, столько и берите. Да ты не торопись, посиди со мной.

Почти что силком Пискун усадил Игната за стол. Разрезая лепешку, он все сокрушался, ахал. Можно было подумать, что это у него самого уволокли сено. Когда пришел Агапка, такой же тонкий в кости и остролицый, как батька, но молчаливый, неприветливый, Харитон заново заставил Игната рассказать о краже. Агапка скривил губы в непонятной усмешке, ничего не сказал.

За столом с шумом хлебали лапшу, Харитон допытывался:

– Что будет с нами, Игнаша? От кого идет такой кавардак нашей жизни? От большевиков или Господь за грехи обходит нас своей милостью? А?

– При чем тут большевики? Сами мы хороши.

– Оно так, – сразу согласился Харитон. – До того хорошие, что лучше-то уж и некуда.

Намедни твой дружок, Тараска, попросил у меня мешок хлеба и посулился за него дровишек на заимку подвести. Потом назад попятился. «Скоро, – говорит, – коммуня будет, все добро в одну кучу свалят. Получается, – говорит, – не у тебя займы взял – у коммунии, ей и отдавать буду». Вона что вытворяет! Одно слово – сукин сын!



– Ему эта мука поперек глотки пойдет! – зло буркнул Агапка.

– Цыц, ты... Дай с человеком поговорить, – одернул его Харитон.

– Надо было Лазурьке об этом сказать! – Игнат, скосив глаза, разглядывал Агапку. Что он за человек, что у него на уме? В партизанах не был, отсиделся на заимке. Максьюха его, кажись, помоложе будет...

– Лазурьке сказать? – спросил Харитон, дробно засмеялся. – Им паскудная баба правит, твоим Лазурькой.

И, должно приметив, что сказанное не по нутру Игнату, тут же прибавил:

– Сам-то Лазурька мужик ничего, стоящий... Но... До него ходил в председателях Ерема, тот был много лучше. А за сеном приезжай хоть завтра. Хлеб понадобится – бери хлеба. Я, Игнаша, не скупердяй.

– Спасибо, Малафеич...

– Что спасибо! Только дураки в толк не берут: для нас теперича одно спасение – держаться друг за дружку.

У порога завозился, зашумел соломой телок, и в нос ударил кислый запах мочи и прели... Игнат поднялся из-за стола. Встал и Харитон. С тревожным ожиданием, заглядывая слепенькими глазами в лицо Игната, спросил:

– Неужели же конец старой жизни приходит? А? Неужели семейщина дозволит командовать над собой кому попало?

Встревоженность Пискуна, жалкое помаргивание его глаз охолонули Игната тоской и печалью. Тоже мается человек, тоже душа не на месте, а что ему скажешь, когда и самому ничего не понять?

Чуть подождав, Пискун перевел разговор на другое:

– Как жить-то думаете? Что делать вам, сильным ребятам, без тягла?

– Корнюха собирается в работники.

– Подрядился уже?

– Нет еще.

– Тогда присылай ко мне. Поселю на своей заимке, коня дам, семян, пускай сеет, сколько убрать в силах. Осенью урожай поделим.

– Что-то не пойму...

– Я и сам в этой жизни ничего не понимаю. Земля вхолостую гуляет, а с работниками не связывайся. Лазурька вмиг присобачит налог непосильный. Если же повернуть таким манером, будто я вам помогаю семенами и прочим, и держать наш уговор в тайности – польза вам и мне.

Игнат обрадовался, но тут же насторожился. Пискун – мужик с худой славой, ну как вздумал объегорить? Чужая душа – потемки, никаким ее фонарем не просветишь. Но он сразу же устыдился своей подозрительности. Думать о человеке плохо, когда он ничего плохого тебе не сделал, не сказал, – грех великий. Не потому ли на земле столько зла, что никто друг другу не верит...

– Ладно, я с Корнюхой посоветуюсь...

По дороге домой Игнат опять обдумывал слова Харитона и окончательно уверился: не лукавит мужик. Не из тех он, которые по глупости своей не берут в соображение, что таких ребят, как они, мятых и битых, на мякине не проведешь, а проведешь – потом не обрадуешься. Неспроста, конечно, льнет к ним Пискун. В новой жизни, запутанной до невозможности, опору обрести хочет. А на кого же ему опереться, как не на них, бывших партизан, утвердивших эту жизнь? Плохого тут ничего нет. Опора, она всем нужна. Вот и он о Настюхе подумывал не потому лишь, что хозяйки в доме нет, – хочется почувствовать рядом сердце другого человека, не замученного думами.

А Корнюхе предложение Пискуна совсем не понравилось. Даже путем не выслушав Игната, он заерзал на лавке, засопел толстым носом, съехидничал:

– Какой ты шустрый стал, братка! С чего бы?.. Спровадить хочешь?

– Ты же сам говорил, что надо наняться. – Игнат перестал понимать брата: что ни скажи – не так. Какого черта он злобится? Чего рычит?

– Говорил... – подтвердил Корнюха, отводя взгляд в сторону. И то, что он прячет глаза, раздражало Игната пуще всего.

– Ну так что?!

– А то, что давно это было. Тогда ты помалкивал, прыти такой не было у тебя. – Корнюха усмехнулся так, будто знал за ним, Игнатом, какой-то грешок, что-то недозволенное. И это вывело Игната из себя, в нем разыгралась кровь ерохинской родовой.

– Замолкни! – рубанул кулаком по столу. – Больно много знать стал! Волю забрал! Пойдешь к Харитону! Завтра же!

От неожиданного крика Корнюха вытупил глаза, подскочил, сгреб шубу, шапку и метнулся к двери. Игнат сунул вздрагивающие руки под ремень, заметался по избе. Почти сразу же пожалел, что наорал на брата. Видно, он становился таким же, как другие, – позабыл о тихом душевном слове, криком захотел утвердить свою власть над братом.

Посмотрел на себя в тусклое, мухами засиженное зеркальце, поморщился. Борода растрепана, давно не стриженные волосы лохмами свешиваются на уши – тьфу, страшилище какое, а еще в женихи наметился. Повернулся к иконам, со вздохом проговорил:

– Укрепи дух мой, Господи!

## IV

Займка Харитона Пискуна была верстах в десяти от Тайшихи. Старое, в землю вросшее зимовье, дворы и надворные постройки прилепились к подножию некрутой сопки, покрытой мелким сосняком. За сопкой начиналась чащобистая, изрытая буераками тайга, а перед окнами зимовья косогорились голые, исслеженные скотиной увалы.

На займку Корнюху привез Агапка. Не отвертелся-таки Корнюха от найма, пришлось покориться брату. Чуть больше недели проработал у Пискуна дома, и вот – займка. Жить тут придется до поздней осени, а не уродится хлеб – и год, и два, и три.

С крыши зимовья сыпались капли, во дворе разрывали навоз чирикающие воробьи. Лохматый вислоухий пес, встретив подводу на дороге, простуженно гавкнул и завилял хвостом. Подвернув лошадь к пряслу<sup>1</sup>, Агапка кинул Корнюхе вожжи:

– Распрягай... – Сам валкой походкой, не оглядываясь, направился к зимовью, за окном которого маячило бабье лицо.

«Сволочь!» – подумал Корнюха, глядя в спину молодого Пискуна. С первого дня возненавидел его Корнюха за писклявый голос, за остренькое, словно мордочка хорька, лицо, за молчаливость и хозяйскую хватку, за то, что не подминал он грудью сугробы, прячась от пуль, а живет и будет жить, как ему, Корнюхе, и во сне не грезилось. За ту неделю, что проработал у них дома, все хозяйство по два-три раза ощупал завистливыми глазами. Все у Пискунов было новое, добротное: от ичихов и зипуна на Агапке до сбруи и дома, изукрашенного резьбой; рвани-драни какой-нибудь у них не водилось. Не один раз в те дни Корнюха помянул недобрым словом покойного родителя: не сумел черт старый сберечь добро. Ему теперь что – лежит, а ты по его милости гни хребет на дохлых Пискунов – обоих, батьку и сына, одной соплей перешибить можно, но ты им покоряйся.

Распряженная лошадь нетерпеливо переступила ногами, потянулась к сену. Корнюха двинул ее кулаком по храпу – нахальная, как хозяйева, – пошел в зимовье.

---

<sup>1</sup> Прясло – забор из жердей. (Здесь и далее примеч. автора.)

Агапка уже сидел за столом. Пожилая баба в ситцевом сарафане гремела ухватом в печке. В зимовье пахло парным молоком, было тепло и чисто.

– Масла-то, Агапша, только два туюска получилось, – говорила баба. – Молоко жидкое, ссядется – сметаны на пальчик.

– Творог вари.

– Варю, а то как же. Варю, миленький. – Она собрала на стол, пригласила Корнюху: – Садись обедать. Слава богу, что приехал. Одна я тут замаялась. Надо коров доить, кормить, поить, на пастьбу гонять.

– Говорил тебе: привези дочку, – сказал Агапка. – Ты баба глупая, ничего не понимаешь.

– И правда – глупая. – Она засмеялась, открыв коротенькие, съеденные зубы. – Приедет она к лету. Продаст домишко и тут будет жить.

– Пускай скорее приезжает, а то я передумать могу.

– А ты бы сперва с батькой поговорил.

– Не учи, сам знаю, что надо делать.

О чем они толкуют – не понял Корнюха, отвернулся к окну. За стеклами с крыши свисали белые свечи сосуллек, на наличниках ворковали голуби, блестели снега на увалах, оплавленные жарким солнцем. «Не выдюжу, – подумал Корнюха, – кину к чертям собачьим, уйду куда глаза глядят».

– Ешь – да пойдем, покажу, что делать надо, – поторопил его Агапка, вылезая из-за стола.

От горячих щей, от чая с молоком его пробило потом, тонкая жилистая шея налилась краснотой, а большие уши вроде увяли, все одно что листья щавеля в жару. «Один раз садануть кулаком – мокрота, как от букашки, останется, и больше ничего», – с брезгливостью подумал Корнюха и перевел взгляд на бабу, ворошившую свое барахлишко в сундуке. Откуда-то с самого низа она вытянула рушник, расшитый петухами, расправила на руках, чтобы петухи виднее были, протянула Агапке:

– Вот оботришь чистеньким. Дочино рукодельство...

«Что ты перед ним лебезишь, старая кикимора!» – хотелось сказать Корнюхе. Ел он нарочно медленно и нарочно громко чавкал, заметив, что Агапке это не глянется. Не дождался его Агапка, вышел, бросил лошадям беремце сена, сел на прясло и принялся чистить зубы щечкой. За ним и баба вышла. Она что-то говорила Агапке, прижимая руки к усохшим грудям, а он смотрел вниз, на юфтевые ичиги, стянутые у щиколотки тканными из цветных ниток подвязками, и слегка кивал головой.

Корнюха наелся, посидел, не спеша оделся, пошел к ним. Не слезая с прясла и продолжая ковырять в зубах, Агапка сказал ему:

– Дворы вычистишь.

А во дворах, сейчас только и разглядел Корнюха, высятся целые горы навоза, смешанного с соломой и снегом.

– Почистить надо, а то стыдобушка, – подсудыривала баба.

– Сено все свозишь. Где сено, она, Хавронья, покажет. Жердей наготовишь. Ясли сруби. Земля оттает – прясла новые поставь.

– Первое дело – ясли, – выждав, когда умолкнет Агапка, уточнила Хавронья. – Много корма скот под ноги сбивает.

– А еще что? – спросил Корнюха. – Может, срубить тебе теплый нужник, какие в городах бывают? Хозяева... По уши в дерьме сидите! Меня, что ли, ждали?

– Заимка к ним недавно перешла, не успели еще порядок навести, – стала оправдываться Хавронья, но ее перебил Агапка:

– А еще дрова наготовь... Саженой восемь-десять, чтобы на всю зиму... Еще...

– У меня сколько рук? Вот они, две! – Корнюха сунул прямо под нос Агапке квадратные кулаки, туго обтянутые кожаными рукавицами.

Агапка поднял голову, подслеповатые глаза его вдруг стали зоркими, острыми, зрачки таили огонь, точно капсулы винтовочных патронов. «Только пикни – всю харю раскровеню!» – со злой радостью подумал Корнюха. Но Агапка обычным, разве что самую малость подрагивающим голосом приказал Хавронье запрягать лошадей и только после этого сказал Корнюхе:

– Не хочешь – не держу. Хучь сейчас катись на все четыре. И без тебя полно голопузых, есть кому дерьмо возить.

– Поговори еще! Я те хребтину-то живо сломаю!

– Смотри, Корнейка, не задавайся, – с тихой угрозой сказал Агапка. – Самому наперед хребтину сломят.

Как ни зол был Корнюха, а понял: не с перепугу бахвалится и грозит Пискунок, есть за ним что-то крепкое, надежное. Но не это удержало его. Противно было бить такого мозгляка. Да и к чему? Даст ему по роже, сорвет свою злость – дальше что? Идти наниматься к другим, и все начнется сызнова.

Ушел в зимовье.

Бесконечной вожжей потянулось время. Корнюха не вел счет дням, не прикидывал, через сколько недель начнется вешняя, не радовался дружному теплу, плавящему снега, – то впрягался в работу и, забывая о еде, отдыхе, без усталости сокрушал железным ломом мерзлые горы навоза, то вдруг все бросал и часами сидел без движения, смотрел тоскующими глазами на плечи проталин, испестривших увалы, на синь лесов, на облака, что рыхлыми копнами плыли неизвестно откуда, неведь куда... Первые дни Хавронья досаждала расспросами, но, когда убедилась, что это его раздражает, обиженно умолкла. С раннего утра до поздней ночи она топталась во дворе, в зимовье: доила и кормила коров, сбивала в кадушке масло, помогала вывозить навоз. И все молчком. Но вечером, когда Корнюха стлал себе постель на сдвинутых лавках и ложился, а она садилась к горящим в очаге смолянкам вязать чулок, молчать ей, должно, становилось невмоготу – рассуждала про себя, не заботясь, слушает ли ее Корнюха. Из этих рассуждений узнал, что до прошлой осени она жила в соседней деревне с младшей дочерью Устей. Старшая замужем, в Бичуре, мужик убит японцами. От хозяйства, и раньше захудалого, ничего не осталось – только дом да амбар.

Чаще всего Хавронья вспоминала молодость.

– В девках-то я была красивая. Какой бы парень мимо ни шел – голову заворотит. – Вязальные иголки в ее руках взблескивали все реже, руки опускались на колени, она умолкала, сидела чуть улыбаясь, сразу помолодевшая, потом вдруг спохватывалась, поджимала губы и строго говорила: – Красота без ума – божье наказание. В ту пору Харитон жил в нашей деревне. Бегал он за мной, как собака за возом. А я нос кверху: получше Харитона парни есть, кого захочу, того и выберу. Выбрала... Здоровяк, косая сажень в плечах, голова кудрявая, а удалой, ловкий – никто с ним не сравнится. Промахнулась я. Для хозяйства он был не старательный, больше по приискам шлялся, гулять любил. Хозяйство на меня легло. А я что? Баба... И ребятишки у меня на руках. Билась я как рыба об лед. Когда пришел японец, мой забалуи подседлал последнего коня, ружье на плечо и уехал. Пришлось мне под старость лет вдовой обнищавшей просить милости у Харитошки, на которого раньше глядеть не хотела. Слава богу, принял, не вспомнил дурость мою девичью. Теперь его Агапша на мою Устюху засматривается, а она непонятливая тоже, как я, нос от него воротит. Ну да я ее обломаю, будет потом всю жизнь благодарить, добром вспоминать. Сама не попользовалась, пусть хоть дочке достанется...

Хавроньины разговоры беспокоили почему-то Корнюху, заставляли заново осмысливать свою жизнь. Не пришлось бы ему, как ее Евсюхе, мотаться всю жизнь по заработкам – то в городе, то тут. А Настя, она что же, сто лет ждать не станет, выскочит за кого-нибудь. Может, сейчас, пока он тут бока пролеживает, под нее кто там клинья подбивает, красными словами улещает. Он-то ей ни единого слова не сказал насчет того, что... Как расстались тогда у ворот,

так и не виделись больше с глазу на глаз. Что она должна подумать после того? Молчит, значит не нужна она ему. Очень просто может так подумать.

Все беспокойнее становился Корнюха, все больше думал о Насте. В один из вечеров соскочил с лавки, оделся, сказал Хавронье, что вернется поздно, и, заседлав коня, поскакал в деревню.

Под копытами хрумкал тонкий ледок, отсырелый ветер облизывал Корнюхино лицо, щекотал открытую шею. Ночь была темная, беспроглядная. Ключья уцелевшего снега на полях мелькали, будто чьи-то тени, будто крались они по сторонам, зажимая Корнюху. С тревожным сердцем вглядывался он в тусклые огни деревни, проколовшие темноту. А ну как опоздал? А ну как Игнат замыслил отобрать у него Настю? Что тогда будет?

У околицы придержал коня и направил его не в улицу, а на зады. Против своего зимовья соскочил с седла, накинул поводья на кол прясла и через гумно прошел во двор. В окне зимовья, закрытом ставнем, светилась узкая щелочка. Корнюха на цыпочках подошел к окну, заглянул в щель. Прямо перед ним, спиной к окну, сидел Игнат, подпирая голову ладонями. Он что-то говорил – что, Корнюха не мог разобрать, как ни вслушивался, голос сливался в беспорядочное бормотание. И кому говорил, не видел: спина брата закрывала все. Но вот Игнат повернулся, и Корнюха увидел на столе лампу, а за ней – лицо Насти. Она сидела одетая, в платке – должно, собралась уходить, теребила пальцами протертую на углу клеенку и отрицательно качала головой. Игнат забормотал что-то и опять заслонил Настю спиной.

Подождал Настю за воротами, на том самом месте, где впервые поцеловал. Ждать пришлось долго, весь изозлился, еле сдержался, чтобы не ввалиться в зимовье, не наговорить ей и брату своему самых подлых слов... На этот раз Настя, едва приоткрыв ворота, увидела его. Нисколько не удивилась, будто знала, что встретит его тут, спросила:

- Давно стоишь?
- Нет... Только что...
- А зачем? Говорила же...
- Мне ног не жалко, стою, когда хочу...

Разговор, чувствовал Корнюха, получается не тот, все слова, придуманные там еще, на заимке, куда-то вдруг запропастились, а тревога потеряла остроту и отодвинулась, но он знал, что если сейчас не скажет Насте всего, уедет – прежние думы навалятся сызнова, прищемят душу.

- Хочу на тебе жениться. Слышишь? – почти со злостью сказал он.

Настя молчала. Он наклонился, вглядываясь в ее лицо, стараясь понять, что она сейчас думает, но было слишком темно, Настино лицо белело пятном...

- А все другие пусть не заглядываются. Любому шею сверну! Слышишь?
- Слышу... – тихо, с обидой проговорила Настя.

– Ладно, не сердись. Это я так. – Он притянул ее к себе, сдвинул платок на затылок и погладил по голове. – Осенью свадьбу сыграем... Ты согласна?

– Не знаю... Я ничего не знаю. – Она доверчиво и ласково, как теленок, потерлась о его грудь. И это ее движение отозвалось в нем сладкой болью. Стыдясь своего чувства, он опустил руки, грубовато спросил:

- А кто знает?
- Ты, Корнюша. Я-то с тобой смогу жить, а вот ты со мной... Приглядишься сперва. А то будешь потом спину ремнем разрисовывать, злость свою изливать.
- Скажешь тоже!.. – засмеялся Корнюха.
- До осени далеко, развиднеется... Ты с заимки?
- С заимки. Игнату ничего не говори. Я сейчас назад. Ты о чем долго с ним говорила?
- Обо всем. Чудной он, Игнат-то. То умный, как старик, то маленький. Жалко его, измался весь.



– Не будет дурусть на себя напускать! – Корнюху царапнули слова «жалко... измаялся». Пусть, дурак, мается, может, чуточку поумнеет.

Обратно на заимку Корнюха ехал шагом. В успокоенные светлые мысли мутным ручейком сочилось беспокойство. Осенью – свадьба. А где они будут жить? На заимке у Пискуна? Его коров станет доить Настя, его зимовье-развалюху будет блюсти? От такой жизни веселей не станешь...

## V

Возле печки, на нарах, под яманьей дохой корчился в ознобе Максюха. По лбу, по щекам катился холодный липкий пот, намокшая рубаха присосалась к телу. Три дня назад он переходил Тугнуй по источенному льду и ухнул до пояса в воду. Пока прибежал на заимку, насквозь продрог, и в тот же вечер тело охватило жаром. Ночью спал не спал – не поймешь, в голову лезла всякая чепуха, мерещилась разная диковина. Возле него почти неотлучно находилась Лучкина сестра Татьянка, большеглазая, длинноносая девка. Она мочила в холодной воде рушник и прикладывала к горячему лбу, поила чаем. За время болезни она ни разу путем не выпалась. Устала, бедная. Прошлой ночью села возле него, привалилась спиной к печке да тут же и задремала. Максим разостлал полушубок и осторожно положил Татьянку. Она что-то пробормотала сквозь сон, сунула ладонь под щеку – так и проспала до утра, ни разу не повернувшись.

Сейчас она хлопотала во дворе, громко ругаясь с младшим братом своим Федоской. Никак не хотел ее слушаться Федоска, вечно перечил, супротивничал, стыдился, видно, ей подчиняться.

На заимке Лучкиного тестя они жили втроем, ухаживали за баранами. Лучкин тесть, Тришка Толстоногий, коров почти не держал, давно сметил: бараны дают пользы много больше. Снег в долине Тугнуя, где его заимка, мелкий, отара без малого всю зиму на подножном корму, сена вовсе немного требуется, а за шерсть, за овчины хорошие деньги дают. Пока Еленка, дочка его, не привела в дом Лучку, Тришка держал на заимке двух работников. Потом они стали без надобности: столкнул всех баранов на руки Татьянке и Федоске. Максю в работники брать никак не хотел – для чего лишние расходы? Пилил долго своего зятя за нерасчетливость, с тобой, мол, в корень разориться можно. Лучка ему: «Не наговаривай, как на грыжу. Не глянется, что я делаю, отдели, сам по себе жить буду». Где же его отделил Тишка! Зять с сестрой и братишкой со всем хозяйством управляют. Сам-то за последние годы растолстел, обленился, корма коню дать не хочет, не только что... Моду взял по гостям ездить. Запряжет Пеганку и укатит, неделями дома не показывается. На Максю он до сей поры исподлобья смотрит. Приезжал сюда раза два и все бубнил себе под нос, к любой мелочи придирался.

За окнами зимовья стихли голоса Татьянки и Федоски, и показалось Максе, что телега колесами простучала. Опять, поди, черти принесли Трифона. Вот уж нехстати. Макся поднялся на локте, глянул в окно. У крыльца распрягал коня Лучка, ему помогал Федоска. Обрадовался Макся. Поднял выше изголовье, чтобы все видно было. Услышав его возню, из-под нар выскочил ягненок, остановился, растопылив палочки-ноги, круглые глупые глаза его влажно поблескивали. Когда заскрипело крыльцо, ягненок стриганул под нары, затих там.

Лучка вошел с кожаной сумкой через плечо. Полушубок распахнут, из-под папахи во все стороны топырится растрепанный чуб, в бороде блестит соломинка. Весь он был какой-то на себя не похожий, бесшабашно-удалой, а когда заговорил, Макся понял: выпивши.

– Ты что это хворать вздумал? – Лучка поставил сумку на лавку, притронулся холодной рукой к Максиному лбу. – Эх тебя разобрало! Но ничего, сейчас я тебя на ноги поставлю. Самогону приволок целую четверть. – Он подмигнул Максе, засмеялся и, открыв дверь, крикнул: – Танюха, бросай все к дьяволу, ставь самовар.

– Ты с какой радости загулял? – спросил Макся.

– А что, только с радости гуляют? Поминки справляю, Максюха.

– Какие поминки?

– А вот, – Лучка взял сумку, выкинул из нее на стол петуха и двух куриц с окровавленными перьями, – всю птицу тестеву перестрелял. Ка-ак шарахну из дробовки... Перья по всему двору.

Лучка весело засмеялся, лихо потряхнул головой.

Пришли Татьяна и Федос, и он заставил их теребить кур, сам ходил взад-вперед по зимовью, рассказывал:

– У меня собака была охотничья. Такая, Максюха, собака, каких не часто встретишь. На белку идет, на медведя, на кабана, утку из болота достанет. А у тещи курица потерялась, потом еще одна. Теща на собаку грех возвела и науськала тестя... Стеклом толченым накормили. Пропала собака. Тогда я взял ружье и давай ихних курей изничтожать. Всех до единой истребил. Теща и баба моя, как куры, вокруг меня прыгают, руками махают, кудахтают. Баба побежала в Совет, Лазурьку привела, арестовать меня хотели. Арестуй попробуй, если у меня ружье в руках. – Лучка сел на край нар. – Правильно я сделал?

– Правильно. Кровь за кровь...

– Смеешься. Эх ты...

– Он смеется, а тебе надо плакать, – сказала Татьяна. – Герой выискался. Смерть куриная!

Федоска, тощий, длинный, согнулся, фыркнул.

– Заржал! – накинулась на него Татьяна, шлепнула по худой спине. – Убирайся отсюда! – И Лучке: – Зря тебя не посадили в тюрьму!

– Дай-ка мне ремень, я тебе по спине врежу, – сказал Лучка.

Из хомута, висевшего у порога, она выдернула супонь, протянула брату:

– На, врежь... – Лицо – серьезное, брови насулены, а в больших глазах – смех, но не веселый, смех сквозь слезы.

Лучка сложил супонь вдвое, накинул на шею Татьянке, потянул к себе, со вздохом сказал:

– Ты молодец у меня, сестренка. Никогда не соврешь, всю правду выложишь. Только тут ты ошибаешься, маленькая моя. Смерть я – верно. Но не куриная. Однако знать тебе про это не надо. Иди готовь скорее ужин. – Оттолкнув сестру, Лучка провел ладонью по лицу, прищурился, вроде бы во что-то вглядываясь, судорожно дернул щекой. – Знаешь, Максюха, я иной раз жалею, что в живых остался. Сколько добрых парней положили на войне...

Донельзя был удивлен всем этим Макся, ему-то казалось, что живет Лучка куда с добром: баба у него ни умом, ни красотой не обделенная, нищета горло не сдавливает – что же еще надо?

– Глупости собираешь, слушать лихо! – сказал ему сердито.

– Может быть, может быть... – Лучка соскочил с нар, подошел к рукомойнику, умылся, намочил голову, причесался: смирный и скучный сел за стол.

– Убери, Федос, куриц, чтоб глаза мои не мозолили. Ты, Максюха, выпьешь? – Из сумки достал бутылку, зубами выдернул пробку-колышек. – Иди, посиди со мной маленько.

– Что он насидит, когда весь ослабший! – воспротивилась Татьяна. – Не вставай, Максим, поешь тебе в постель подам.

– Видал-миндал, повеселиться не дает, – усмехнулся Лучка. – Эх, бабы, бабы, проклятье рода человеческого. Все беды на свете – от баб, Максюха. А ты, Федос, на стаканы не поглядывай, отучишься рукавом нос вытирать – пожалуйста.

– Нужно очень! – вспыхнул Федоска. – Духу ее не выношу.

– Придет время – вынесешь. И не то еще вынесешь, братка. – Отодвинув стаканы, Лучка опять подошел к Максе, сел, сказал протрезвевшим голосом: – От прежних друзей один ты остался, Максюха. Другие отодвинулись.

– То на себя, то на других наговариваешь...

– Нет, Максюха, отодвинулись, вижу, какое ко мне отношение.

– Плохо смотришь. Оттого-то и мерещится...

– А что смотреть? Ковыряют своими разговорчиками – мимо ушей пропускаю. Грешил: от зависти бормочут. Про себя думаю: подождите, я вас еще заставлю удивляться. Жил этой думой, радовался, а теперь ничего не осталось, на душе склизь одна.

Замолчал Лучка, прикусив короткий ус. Плыли за окном сумерки ясного вечера, из двора доносилось меканье козленка; в запечье тонко, будто на тальниковой свистульке, пел самовар. И Максе хотелось, чтобы спокойствие этого вечера, эта негромкая тишина вытеснили из Лучкиного сердца промозглость, чтоб говорил он о чем-то другом, говорил с ясной и теплой задумчивостью, как бывало там, у нежарких партизанских костров.

– Чем ты хотел удивить мужиков? Расскажи...

– Что рассказывать, Максюха? По нашим, мужицким, понятиям это вроде как блажь... Но кому что. Я, к примеру, до смерти люблю в земле копать, пытаться, что она может уродить. Чудное это дело, диковинное. – Лучка помолчал, сел поудобнее. – Ты видел, бабы наши для красоты в огородах под окнами киюшку выращивают? Попал я в теплые края, вижу, произрастает наша киюшка, только она в три раза больше и по-другому называется – кукурузой. Там она солнце любит, землю влажную. Приехал домой, стал узнавать, откуда взялась киюшка в нашем стылом, засушливом крае. Прадеды в ссылку семена привезли, кормиться ею думали. Не получилось. Но совсем не забросили. То один, то другой в землю зерно кинет. И прижилась, приладилась киюшка к сухоте и ранним заморозкам. В росте, конечно, поубавила и зерна такого не дает, как кукуруза. Так ведь без догляду прижилась... А если с доглядом? Яблоки и другая разная фрукта тоже должна к нашей земле приладиться. Как ты думаешь?

– Не думал про это, врать не хочу.

– Ты не думал, другие и подавно. Жизнь ни к черту негодная у нас. Одно знаем: веру беречь. Доберегли! Со стороны посмотришь на семейского, он вроде той киюшки – умом не вверх, а вниз двинулся, от земли еле поднимается.

– Тут ты загнул, Лука.

– Загнул? Пусть... Не дал ей Бог крыльев, нашей семейщине. Оно, конечно, верно, что не до мудреной огородины многим, не до садов. А у кого в закромах не пусто, выгоду свою упустить боится. Мой тесть – такой... Ему все чудное, непонятное – нож вострый. Что ему сады, красоты на земле, была бы утроба набита. А-а-а, ладно... – Лучка принес стаканы – один полный, до краев, из него самогон плещется, другой до половины налит. Полный подал Максе: – Чебурахни все зараз, полегчает.

Максим с опаской примерился к стакану – многовато, не стало бы хуже.

– Выпей, – сказала Татьяна, – все мужики так от простуды лечатся.

Она поставила на нары капусту, редьку тертую со сметаной, хлеб, но Макся закусывать не стал. Не захотелось. От самогона по всему телу разлилось тепло, голова отяжелела. Без лишних церемоний Татьяна согнала брата с нар, поправила на Максе доху, укрыла его еще двумя полушубками, и он, обессиленный, распаренный, почти сразу же заснул.

Проснулся – в окна бьет солнце и расстилает на полу косые квадраты света, в одном из них блаженно дремлет ягненок; в углу за столом пьет чай Лучка, напротив него, одетая, в кичке и кашемировом полушалке по плечам, полнолицая, необветренная – Еленка, Лучкина супружница. Видать, только что вошла, бренчит монистами, полушалок развязывает и с осуждением смотрит на своего мужа. В зимовье, кроме них, никого нет, Татьяна и Федос, наверное, скотину кормят. Лучка дует на блюдце с чаем, спрашивает:

– Батька послал?

– Сама сдогадалась... А хоть бы и батя! – Елька сняла полушалок вместе с кашемиром, на груди желтыми огнями заиграли янтарные корольки, заискрились стекляшки бус. Шея

у Еленки длинная, будто нарочно вытянутая, чтобы побольше монист нацепить. – Тебе надо повиниться перед батей и мамой.

– Это за курей-то?

– За курей и изгальство.

– Про какое изгальство говоришь?

– Ума пытаешь? – вскинула голову Елька. – На смех всей деревне выставил и еще спрашивает об чем-то!

– Ты не дергайся, Еленка. – Лучка осторожно поставил блюдо на стол. – Ты мне вот что скажи: как дальше жить будем?

– Ты об чем?

– Не могу я, Елька, больше. Хочу жить по своему разумению, батя твой пусть живет по своему.

– И что ты навалился на батюку, на маму? Они свой век доживают, а мы только начинаем...

– Потому-то, Елька, надо как-то все переиначивать. Не хочу я, чтоб моя жизнь была такой же, как у твоего батюки.

На белом Еленкином лице выгнулись и сошлись у переносья брови, удивленным, обиженным стало лицо.

– Дай бог всем так жить и столько нажить...

– Ты не пузырься, а послушай, что скажу. Я женился на тебе, а не на приданом. Если хочешь жить по-человечески – уйдем.

– Да ты что! – Еленка вцепилась обеими руками в нитки бус. – Ты что это выдумал! Куда мы уйдем от хозяйства такого? Оно нашим будет. Наше оно – твое и мое!

– Наше?

– Конечно наше.

– И я могу им распоряжаться, как захочу?

– Конечно, Лукаша, ты – хозяин. От века так – хозяин домом правит.

– Как ни поверну, будешь согласна?

– Зачем спрашиваешь? Заранее согласна.

– Вот и брешешь, Еленка. Коммуна будет – первым в нее пойду и все хозяйство сдам. Что скажешь? Запоешь другим голосом, а батю твоего разом кондрашка хватит.

– За что казнишь меня, бессовестный?

– Не казню, Еленка, понять ты меня должна.

– Поняла... Нету сердца у тебя! – Еленка всхлипнула, закрыла лицо руками.

Лучка навалился на кромку стола грудью, хмурясь, взялся водить пальцем по пустому блюду.

Неловко было Максе слушать весь этот разговор и притворяться дальше, что спит, становилось просто невозможно – повернулся, громко, протяжно зевнул. Еленка быстренько вытерла ладонями слезы, улыбнулась:

– Здоровенько, Максим!

А Лучка все продолжал писать пальцем на блюде, Еленка его за рукав тронула, попросила:

– Собирайся, поедем.

Уже одетый, Лучка подошел к Максе, постоял молча, вроде как не решаясь что-то сказать, подал руку:

– Поправляйся...

Ничего к этому не добавил. Вышли друг за другом – Лучка впереди, Еленка за ним. В руках у Еленки – бич. И Максе показалось вдруг, что этим бичом она будет подстегивать своего мужика всю дорогу, чтобы в сторону не сворачивал. Бедный Лука тоже сбился с панталыку.

Будь на его месте кто другой, Корнюха, к примеру, жил бы припеваючи. А может, и нет. Сам-то он, Макся, попади в такой дом, радовался бы? Пожалуй, нет. Конечно нет! Это что же получается? Царя и всех его выкормышей, солдатню разных держав вымели из страны, а Тришка, тесть Лучки, Пискун, хозяин Корнюхи, раньше миром правили и сейчас правят. Раньше на них спину гнули за кусок хлеба и сейчас гнут. Хотя бы и он сам. Рад-радехонек, что Тришка не гонит с заимки. Красный партизан, завоеватель новой жизни! Э-эх!

## VI

Игнат собрался ужинать, когда звякнули ворота. Он подошел к окну. Во двор вводил подседланную лошадь какой-то бурят.

Привязав лошадь, гость, обходя лужи с красными отблесками закатного солнца, направился в зимовье. Игнат встретил его у порога и тут, вглядываясь в лицо, от удивления рот открыл:

– Бато?

Бурят сверкнул белыми зубами, засмеялся, отчего его узкие глаза будто и вовсе зажмурились.

– Я, Игнат.

– Откуда ты взялся, Батоха?

– А тут, рядом, в улусе Хадагта живу.

– Чудеса, да и только! Нам мужики сказывали, будто ты богу душу отдал.

– Не, японцы тут дырку провертели, – Бато показал чуть ниже правого плеча, – а ничего, заросло.

Рассказывая, Бато снял шубу, буденовку. Голова его была острижена наголо, и от этого лицо казалось еще более скуластым. Игнат начал было доставать из столешницы еще одну ложку, для Бато, и тут вспомнил: Батоха – нехристь, чужая, поганая у него вера. Нельзя его кормить за общим столом, под образом Бога, из общей посуды. А посадить отдельно – обидится. Как ему не обижаться: были в партизанах – ели из одного котелка, кусок хлеба пополам разламывали, мерзли в одном сугробе, грелись у одного костра. Война отодвинула различие в вере, в обычаях. Но то – война. А как поступить сейчас?

Не слушая больше, что говорит Бато, Игнат бесцельно перебирал деревянные, с обкусанными краями ложки. Бато присел на лавку, глянул на него, замолчал, потом смущенно попросил:

– Давай другой посудка.

По ломаному выговору, по смущению Игнат понял, что Бато обо всем догадался. Махнул рукой:

– Садись, чего там!

И все же разговор за столом плохо ладился. Помутнела радость встречи, пропала куда-то душевная близость. Игнат пожалел, что нет дома Корнюхи. Тот старые обычаи ни во что не ставит, совсем обасурманился, и с ним Батоха ничего бы такого не почувствовал. Хотя... Батоха понятливый, завсегда моментом отзывался на доброе и худое. Просто даже жалко, что такой славный человек, а нехристь.

Пужинали торопливо, будто на пожар спешили.

– Ночевать будешь? – спросил Игнат.

– Поеду. Ближе тут. Прошлым годом это место жить стал. У вашего батьки гостевал. Помер он? И мой батька помер. Давно уже. Дырку залечивали мне, тогда помер, а мать недавно померла. Тут дядя живет. К нему с сестрой кочевал.

Понемногу Бато разговорился. В улусе, сказывал, тоже ждут люди перемен, по-разному ждут: есть – радуются, есть – боятся.



– Ты как, не боишься?

– Я чужой скот пасу. У кого стадо больше, тот боится.

– Оно так... Но ить, Батоха, стариной попуститься надо, всем, чем отцы наши жили. Не жалко? Первым делом, верой...

– Что мне вера давала? Ничего мне вера не давала, я не лама! – быстро заговорил Бато. – Кто лама, тому шибко плохо...

Уклончиво, невразумительно ответил ему Игнат:

– Оно конечно, потому как вера ваша не настоящая.

– Зачем такой стал? – с удивлением и укором спросил Бато. – Совсем другой человек был. Эх-хе, Игнат, пропадать будешь, погубить себя будешь! Не надо... Солнце греет, степь широкая – живи!

Узенькие глаза Бато светились участием, и Игнат закричал, потупился, угрюмо обронил:

– Никак жалеть вздумал... Давай говорить про другое.

Проводил Бато за ворота, подал руку:

– Забегай, когда тут будешь.

Дома, убирая со стола, повертел в руках стакан, тот, из которого пил Бато, поставил на место. По-доброму то стакан надо было выкинуть, он теперь вроде как опоганенный, грех из него пить верующему. Но разве меньший грех принимать человека как друга, сидеть с ним за одним столом, а потом, едва он за порог, выкидывать в помойку все, что от него осталось, все, к чему прикоснулись его руки? Отчего так верой установлено, что ежели ты не семейский – поганый? Неужели на всем белом свете, среди тьмы всякого народа, одни семейские отмечены перстом божьим, одни они чисты?

Так и не решил, что сделать со стаканом Батохи, так и не убрал со стола. Как в теплую затхлую воду, погрузился в свои думы, вновь вспомнил похороны отца, свежую могилу его, вмиг присыпанную снегом и ставшую, как все другие. Что же такое есть человек? Многие теперь говорят: Бога нет, души нет. Для чего тогда жизнь?

На дворе стемнело. В избах зажглись огни. Хлопали ставни окон, запираемых на ночь, скрипели ворота, сонно взлаивали собаки. Игнату стало ясно, что Настя сегодня не придет. Одному сидеть в пустой избе тягостно, а пойти, считай, некуда. Но почему ни разу не сходил к уставщику? Уж он-то все о вере знает. Можно прямо сейчас к нему...

Уставщика застал за вечерним чаепитием. В исподней рубахе, с рушником на шее, размлевший, сидел он у медного самовара, тянул чай маленькими глоточками, тяжело пыхтел.

– Ты чего ко мне, по делу? – прогудел Ферапонт.

– Как сказать... Вроде бы и не по делу...

– Сейчас, сынок, приходят ко мне только для того, чтобы попросить что-то.

– Трудно живется людям, Ферапонт Маркелыч...

– Трудно, ох, трудно, – вздохнул Ферапонт. – Ну да вам-то что, сами все сбаламутили. Радуетесь, должно?

– Чему радоваться-то?

– Чего же не радоваться... Стариков можно теперь ни во что не ставить, меня, пастыря духовного, стороной обегать. Кругом слобода. На все ноги расковались, а только худо все кончится, сынок. Без подков, сам знаешь, чуть ступил на гололед – брык набок.

Не попреки и жалобы хотел слышать Игнат от Ферапонта, совсем за другим к нему шел. Помрачнел.

– Говоришь так, будто я во всем виноват.

– Не ты один. Но и ты. Все обольшевичились! – Ферапонт стянул с шеи полотенце, скомкал, бросил на лавку. – Дух свой унизили, чрево возвысили.

– А может, люди не виноваты в этом? Большие сумления в вере есть, кто на них ответит, распрояснит?

– Для истинно верующего не может быть никаких сумлений, а чуть пошатнулся, лукавый тут как тут. Зачнет сомущать на каждом шагу. Только истинно верующему не страшны ни люди-греховодники, ни козни нечестивого. А веру крепит молитва.

– Не всегда молитва поможет. Например, так... Бог запрещает человеку даже бессловесную скотину зря обижать. А мы людей другой веры презрением оскорбляем, есть с ним за одним столом гнушаемся. Это от Бога или люди выдумали?

Ферапонт моргнул глазами так, словно их запорошило, придвинулся ближе к Игнату, спросил:

– А сам как думаешь?

Игнат помолчал, сказал твердо:

– Не от Бога это. От людей, от недомыслия.

– Хм, от людей, говоришь... – Ферапонт был, кажется, в затруднении, поскреб ногтем в бороде. – От людей... Не с того конца веревку тянешь, сынок. И не ты один так. Многие теперь на жизнь смотрят с одного бока, одно на уме имеют – утробу свою насытить. Все помыслы к тому сводят, всю силу рук и ума на то кладут. Но оглянись на дело рук человеческих, и ты узришь, как все обманчиво. – Голос Ферапонта отвердел, загудел густо и ровно. – Все, чего мы на этом свете добиваемся, чему радуемся, – прах и тлен.

Игнат молча кивал. Он давно сам до этого додумался, ничего нового не открыл Ферапонт, но то, что уставщик мыслил сходно с ним, радовало, располагало к доверию.

– Только душа человека нетленна, бессмертна. Заметь, только душа. – Ферапонт поднял толстый, в рыжих волосинках палец, ткнул им, будто хотел вдавить свою мысль в наморщенный лоб Игната.

И о бессмертии души Игнат, конечно, знал без Ферапонта. Но верил ли? Сейчас, вслушиваясь в густой голос уставщика, он ощущал, как исчезает зыбкость мысли и все становится четким, определенным. Суть человека – душа его. Тело – одежда души. Обветшала одежда – Господь освобождает от нее, и предстанешь ты перед судом голеньким, нечем прикрыть ни пустоту, ни язвы, ни пороки.

А Ферапонт увлекся, заговорил нараспев:

– Твори дела, угодные Богу, снимай грехи постом и молитвой, и будет твоя душа чиста, аки у младенца...

– А какие дела угодны Богу? – остановил его Игнат.

– В Писании сказано: не убий, не укради, не пожелай жены ближнего своего, ни осла его...

– Я так понимаю: делай людям добро – и ты будешь чист перед Богом? Верно я понимаю?

– Верно, сынок. Зло, причиненное другому, – ущерб твоей душе.

Больше Игнат ни о чем спрашивать не стал, заторопился домой: боялся, не смутил бы вновь Ферапонт мысли каким неловким словом.

Дома зажег лампу, помыл стакан Бато и поставил вместе со всеми. Ни Ферапонт, ни другие старики, в вере твердые, не одобрили бы этого, но он теперь знал: делает правильно. Перед Всевышним каждый отвечает за свою душу сам, и никто не вправе возвышать себя над другими, мнить себя лучше и чище. Какая у него вера – не твое, а богово дело. Твое дело, если хочешь жить в ладу с Богом и своей совестью, относиться к любому человеку так, как относятся к тебе твои близкие.

Но тут он вспомнил о споре с Корнюхой и вновь пожалел, что не сдержался тогда, ожесточил его своей руганью. Совсем отдалился Корнюха, приезжает с заимки редко, а придет – трех слов не скажет, повернется – и был таков.

## VII

Недели за две до пахоты Лазурька созвал сходку. В здание сельсовета, бывшую сборную, набилось полно мужиков, знали: не будет Лазурька в такое горячее время зря отрываться от дела. Игнат еле нашел, где сесть. Бывший председатель Совета Ерема Кузнецов подвинулся, освободил край скамейки.

– Присаживайся. Чтобы боевой партизан стоял на ногах – не позволю. Нам бы полагалось сидеть на первой скамейке, а?

– И тут ладно.

– Ничего не ладно. Сердце не выносит, когда нашего брата затирают.

«Выпивши он, что ли? Да нет, трезвый». Игнат с недоумением смотрел на Ерему. Сильно-то боевым партизаном он не был. В одном бою участвовал, а потом куда-то потерялся. Говорили ребята: захворал, понос подхватил... А после войны сам Ерема твердил, где только мог: ранили его. Может, и ранили...

– У нас, товарищи, имеется всего один вопрос. – Лазурька встал из-за стола, одернул солдатскую гимнастерку. – Поскотину надо городить, мужики...

Сдержанным шумом неодобрения ответили ему мужики. Ерема поднялся, громко сказал:

– Тебе заняться нечем али как? – Сел и добавил негромко: – Покрасоваться захотелось перед народом – созвал. Зачем таким власть доверяют?

– Баба тесто не сдобила, печь не затопила, а вы: пирог подавай. Тебе же, Еремей Саввич, – Лазурька приподнялся на носках, чтобы увидеть Ерему, – вовсе нечего высовываться. В твою бытность председателем поскотину на дрова растянули, колья одни остались. Сроду такого не было. А без поскотины нам никак нельзя. В прошлом году сколько потраву было? Так что раньше сроку заворковали, мужики, будем городить поскотину, как и в старину, всем миром.

Над головами мужиков поднялся Харитон Пискун, огладил реденькую бородку, тихим голосом укорил мужиков:

– Как вам не надоест шуметь? Надо же поскотину городить? Надо. Об чем же разговор? Другое дело, не след по такому пустяку людей скликать. Из века заведено держать поскотину в порядке, так что нечего было митингу разводить, а сказать, кому сколько заборов поставить надобно, и все.

Лазурька слушал Харитона Малафеича с усмешкой.

– Сколько же заборов ты раньше ставил? – спросил он.

– Разно бывало. Заборы делили на души, а душ в деревне числом бывает то больше, то меньше.

– На души? – Лазурька перестал усмехаться, потемнел лицом. – То-то и оно, на души. За душой у тебя, может, нет и паршивой баранухи, а ты мантуль наравне с теми, у кого скота полон двор. Так было, но так не будет, Харитон Малафеич!

– Кто за свою жизнь баранухой не обзавелся – что о них говорить. А ты какую холеру придумал? – с подозрением и беспокойством спросил Пискун.

– Мужики, такое есть к вам предложение. Поскотина делается, чтобы уберечь посевы от потравы. Будет по справедливости, если тот, у кого скота больше, больше и заборов поставит.

– Да ты что, Лазарь Изотыч? – удивленно протянул Пискун. – Никогда такого не бывало у нас. Для чего старину ломаешь?

– Старина твоя давно поломата, теперь только обломки из-под ног убрать требуется.

Мужики молчали, шевелили губами, подсчитывали, кому будет от нового порядка выгода, кому – убыток. Игнат тоже прикинул, похвалил Лазурьку: хорошо придумал. У них в семье три души, у Пискуна – две. По-старому Пискуну городить пришлось бы меньше, хотя скота у него в несколько раз больше.

– Высказывайтесь, мужики, нечего тут молчком сидеть, – сказал Лазурька. – Ну, кому слово дать?

Встал Лучка Богомазов, наморщил лоб, собираясь с мыслями, а за его спиной чей-то старческий голос проскрипел недовольно:

– Пошто молодые вперед лезут?

– Одно – молодой, другое – не хозяин, в зятях околачивается, – съехидничал кто-то и попал в точку.

Лучка от этих слов вздернул голову, как пришпоренный конь:

– Захлопни зевальник! – И сел, угрюмо потупив взгляд.

– Дозвольте мне, люди добрые, – степенно проговорил уставщик Ферапонт, поднялся над мужиками – дремучая бородища во всю грудь, в руках палка, крючком согнутая.

– Не позволю! – негромко, но так, чтобы все услышали, сказал Лазурька, вышел из-за стола. – Ты зачем пришел сюда, пастырь? Лишен ты голоса, как служитель религии, потому – иди с миром до дому, батюшка.

– Это как же так? – Ферапонт не ждал такого, осекся, тяжело повернулся в одну, в другую сторону. – Дожили!

– Иди, батюшка, иди, – почти ласково выпроваживал его Лазурька, и эта ласковость была для Ферапонта хуже брани, хуже злого крика.

– Вы-то что молчите, мужики? – увядшим голосом спросил он, шагнул к дверям, пригрозил палкой. – Ну-ну, молчите, дойдет черед и до вас.

И когда он выходил, из дверей на всех пахнуло холодом ночи. Мужики зашевелились, недовольно загудели.

Лазурька сосал потухшую папироску, цыгановатыми глазами настороженно всматривался в лица мужиков, даже не пытаясь утихомирить собрание. Игнат вздохнул. Негоже так вести себя с народом. Выгнал Ферапонта, не считаясь ни с возрастом, ни со званием его. Лишен голоса – вон ведь что придумал. Недоброе это дело – рот затыкать. Ума на это много не надо. Если правда у тебя, никакой чужой голос не помеха.

А шум все нарастал и нарастал, уж и покрикивать стали на Лазурьку.

– Хватит! – Лазурька выплюнул папироску. – Хватит! Прошу не горланить. Всех кулацких крикунов и их подголосков вытурим отсюда, если будут мешать. Вашей власти теперь нету. Теперь бедняцкому классу первый голос.

– Давай, председатель, я выскажусь. Мне-то можно высказаться? – Петруха, по прозвищу Труба, узкоплечий, длинношей мужичок, поднял руку.

– Говори, Петруха.

– Все вы знаете, кто я такой. Я, можно сказать, самый наипервейший бедняк. Дома у меня, кроме пяти ребятишек и семи куриц, ничего нету. Всю жизнь в мельниках у Прокопа живу.

– Да знаем, говори по делу!

– Нашел чем хвастаться!

Сбитый с толку криками, Петруха замолчал.

– Говори, говори, – приободрил его Лазурька.

– Так я что хочу сказать? Советская власть нас всех уравнила. Теперь что Прокоп, что я – одинаковы, я вроде даже чуть выше, потому как бедняку – честь. И ты не дело говоришь, председатель. Не принижай бедняков, дели на душу, как раньше делили.

– Очумел! – Звонкий женский голос, такой неожиданный здесь, заставил Игната вздрогнуть. Это Епистимея, баба Петрухи Трубы, как-то затесалась сюда и сейчас, возмущенная речью мужа, вскочила, ударила его по спине кулаком. – Садись, постылый! Садись и не лезь на народ с худым умом.

Мужики смеялись: кто громко, весело, кто слегка похохатывал, прикрывая рот рукой. Со всех сторон на бедного Петруху посыпались язвительные шуточки:

– С кем теперь сравнялся Петруха – с бабами!

– Бей его шибче, будет умнее!

После этого веселый гул так и не угас до конца собрания. Закончилось оно быстро. Никто больше не решился отстаивать старый порядок дележа работы.

Домой Игнат возвращался вместе с Харитоном Пискуном. Старик всю дорогу вздыхал, качал головой:

– Никакой жизни не стало, Игнаша. Задавили нашу вольность, слова тебе не дают сказать.

– Ты зря спорил, – осторожно возразил Игнат. – Лазурька, он правильно измыслил.

– А разве я говорил, что неправильно? Тут, думаешь, дело в поскотине? Пусть загорожу я десять – двадцать лишних заборов – у меня не убудет. Тут, Игнаша, другое. Лазурька старые порядки изничтожает. Сегодня городьбу не так поделил, завтра землю обрежет, послезавтра в закром с мешком полезет. Видно же, куда гнет. Еремка, тот был лучше, со стариками совет держал – и власти хорошо, и нам неплохо. А этот ничего не понимает. Вы с ним навроде друзья. Поговори, втолкуй ему, что нельзя так. Надо жить тихо-мирно, как деды наши жили.

– Что я ему скажу? Ничего в таких делах не понимаю.

– Пойдем ко мне, чайку попьем, поговорим.

– Спасибо. Но мне некогда. Дела дома есть.

Не терпящих отлагательства дел у него нет. Думал, что пришла, может, Настя. Но ее не было. В избе который уже день не прибиралось, грязно, прямо как у Пискунов, а Настюха глаз не кажет. Что-то она реже и реже стала приходить. Как-то зашел к Изоту поздно вечером спросить, возьмется ли Настя починить рубахи.

– Так она у вас, – сказал Изот. – Стемнело – ушла.

Потом он спросил у Насти, где она была в тот вечер. Девка покраснела, сказала что-то непонятное, а переспрашивать Игнат не стал. У него вдруг защемило сердце. Уйдет от них Настя. Бегаёт, видно, на вечерки. Парней молодых в деревне много. Что он перед ними? Угрюмый мужчина, ни песню спеть, ни слова веселого сказать.

В одиночестве поужинав, Игнат лег спать. Не спалось. С тоскливой неохотой думал о своей скособоченной жизни. Годы немалые, к тридцати подкатывают, половину своего века, должно, уже прожил, а ничего доброго в жизни не видел, только муки, страдания людские. И все время ждешь: вот-вот направится жизнь, посветлеет, уплывет все худое, как мусор по полной воде...

Лежать без сна, думать о передуманном надоело, сел на приступку крыльца. Темень стояла непроглядная. С неба почти неслышно моросил мелкий дождик. В деревне дверь не скрипит, собака не тявкнет. Поздно, видать. Может, утро скоро.

Игнат зевнул, поежился, встал, собираясь идти в избу. На улице приглушенно застучали копыта лошадей. По звуку можно было определить, что ехали, приближаясь, два всадника. Напротив ворот они остановились, перебросились двумя-тремя словами, и вдруг хлестко, лопнувшим обручем, ударил выстрел, за ним – другой, третий. Зазвенели стекла, завыли собаки. Игнат метнулся на забор, повис на нем, закричал:

– Вы что делаете, варначье?!

Навстречу ему из тьмы колюче вспыхнул выстрел, и пуля взвыла высоко над головой. Всадники ускакали, стук копыт замер в ночи. Собачий лай покотился от двора к двору по всей деревне.

Игнат спрыгнул с забора, перебежал через улицу, остановился под окнами Изотовой избы. Тихо было в избе, наружу не доносилось ни звука. Может, и не в Лазурьку стреляли? Может, баловал кто? Осторожно постучал в ставень. В избе что-то шебаркнуло, но никто не откликнулся.

– Лазарь, а Лазарь, это я, Игнат. Открой. Они убежали.

– Ты, Игнат? Сейчас.

В избе засветился огонь. Загремев болтом, открылся ставень, распахнулось окно. С лампой в одной и наганом в другой руке, у окна стоял бледный, всклокоченный Лазурька. Из-за спины выглядывал старик Изот. Он держал в руках старую берданку.

– Лезь сюда. Окно надо закрыть. Не вернулись бы, – сказал старик.

– Не вернутся. – Лазурька поставил лампу на стол, смел с подоконника осколки стекла. – Пакостливы, как кошки; трусливы, как зайцы. Сколько их было, не заметил?

– Не, темно. По слуху понять – двое. – Игнат остался стоять на улице. Мелкие брызги дождя оседали на лице, на шерсти старенького зипуна. – Никого не задело?

– Нет. – Лазурька высунулся из окна, взгляделся в тьму. – Сволочи! Я еще посчитаюсь с вами!

– На том свете посчитаешься! – сердито сказал Изот и, опираясь на берданку, пошел к кровати. – Ухайдакают они тебя, парень, помани мое слово.

– Уедем отсюда! – Из-за печки вышла Клавка, Лазурькина баба, она зябко куталась в платок, вздрагивала.

Лазурька закурил, нервно попыхивая папиросой, сказал:

– Сто раз было говорено – никуда не поеду!

Из-за перегородки выглянула Настя, кивнула Игнату:

– Она правильно говорит: уезжайте. Убьют тебя, братка.

– Не твоего ума дело, Настюха, помалкивай.

Игнат поднял воротник зипуна, прикрывая шею от дождя.

– И верно, уехал бы ты, Лазарь, обождал, когда затихнет. Потом возвратишься.

– Ну уж нет! Это мой дом, моя земля, никуда меня никто не выживет отсюда! Так-то, Игнат. За то ли мы воевали, чтобы в родном доме от всякой падали житья не было?

– И это правильно... С другой стороны, тебе надо помягче, полегче с народом... Зачем ты вечером Ферапонта посрамил? Старик он, уважительность к летам его быть должна, опять же, если в Бога верует – кому какой вред?

– Ты ничего не видишь, Игнат. Куриная у тебя слепота. В молитве усердствуешь, шишек на лбу набил и ждешь, когда Господь ниспошлет благодать. Не дождешься, божий угодник.

– Мои молитвы не задевай...

– Смотреть, как ты расквасился? Как забыл кровь братьев-товарищей?

– Братка! – предостерегающе сказала Настя. – На ком попало зло не срывай.

– Молчи! За косу отгаскаю! – Лазурька лег животом на подоконник, наклонил голову к Игнату. – Думаешь, по мне они огонь ведут, по Лазурьке? На черта я им сдался. Дело наше они обстреливают. А у тебя порох отсырел.

– Ты чего добиваешься, Лазарь, непонятно мне.

– Жизни другой для людей. И кто поперек этой жизни станет – не помилую! Не только Ферапонту, самому Господу бороду повыдергаю.

– Экий ты, Лазарь, невожатый и озлобленный. Крови пролил народ и так достаточно. Иззяблись люди, умаялись, себя потеряли многие. Мир, теплое слово более всего им нужны сейчас, а ты вновь войну навязываешь.

– Я навязываю? А ты спроси, сколько раз вот так, стрельбой в окна, нас с постели поднимали... Война не кончилась еще, и рано ты винтовку на стену повесил. Ты не сердись на меня, Игнат. Сам понимаешь, тяжело мне. Приходи завтра утром в Совет.

В Совет, кроме Игната, пришли еще человек пятнадцать, все бывшие партизаны.

– Вот что, мужики. Стрельбу по ночам, воровство надо кончать! – решительно сказал Лазурька. – Небольшая нам цена будет, мужики, если допустим, чтобы селом правил Стигнейка Сохатый. Каждую ночь будем караулить все ходы-выходы из деревни.

– Надо бы милицию пригласить. Они за это деньги получают, – сказал Тараска Акинфеев.  
– Пробовали, приглашали. Пока милиция тут – все тихо-мирно, уехали – Сохатый пуще прежнего гадит. Кругом глаза и уши. А мы будем потихоньку.

– Верно, Лазарь Изотыч, какие же мы партизаны, если одного Сохатого не словим, – подал голос охотчий до разговоров Ерема Саввич.

– Работа же, братцы! – взмолился Тараска. – День на поле майся, а ночью в канаве лежи с винтовкой в обнимку. Кому как, но мне – лучше с бабой своей обниматься. Молодоженов-то, поди, освободите? – Тараска хитро заулыбался.

Шутку его никто не принял, не до шуток было.

– Караулить будем по переменке. С тобой, Тарас Акинфеевич, ничего не сделается, если один раз в неделю недоспишь. Порешили, значит, мужики? – Лазурька обвел взглядом лица бывших партизан. – Но чтобы – ни гугу! Чтобы ни одна собака об этом не разнюхала.

## VIII

Вплоть до начала весновспашки Корнюха через день-два тайком приезжал в деревню. Настя поджидала его на берегу речушки в кустах тальника. Там было тихо, только речка булькала на камнях, да ветер иной раз шебаршил прошлогодним листом. Говорила Настя мало, молча прижималась к нему, ерошила чуб, терлась щекой о его колючую щеку. Зато сам Корнюха становился разговорчивым, никаких мыслей от нее не прятал, самое сокровенное выкладывал.

– Я тебя, Настюха, в нашу старую избу не поведу. Новый дом построю. Высокий, с большими окошками, с резьбой по карнизу. В доме будет смоляным духом, свежим лесом пахнуть. Одни будем жить, полная воля нам... А ты чего посмеиваешься? Не веришь, думаешь, заливаю? Плохо ты меня знаешь! Я уже обмозговал!.. Старый Пискун даст мне столько семян, сколько захочу, кони есть. Я из себя все жилы вымотаю, а засею столько, что на еду и на продажу хватит. За лето лесу наготовлю. А осенью помощь соберу. Мужикам что надо – ведро самогону в день и закусь кое-какая. Самогона я на заимке сколько хочешь высижу. Начальство туда не заглядывает, а Хавронья никому не скажет.

– Помощь, братка говорил, запретили...

– Это для кулаков запрет. Я же не кулак... На другой год коней купим и будем жить с тобой, Настенька, лучше всех. Всего у нас будет вдоволь...

– Я бы с тобой, Корнюха, не только в новом доме, в самой последней завалюхе жила бы и радовалась. Не надо мне ни нарядов, ни богатства...

– Ты так говоришь потому, что ничего не видела, нигде не была. Я нагляделся на жизнь людей. У нас разве жизнь! Тягомотина... Батка мой оставил нам в аккурат то, что ему от деда досталось. А ведь всю жизнь работал, как конь слепой. Сам доброй одежды не износил, нам не давал. Таковую жизнь тащи назад. Мои дети будут сыты, обуты, одеты. На это всю силу свою положу. Ну и сам постовать не собираюсь. За хорошую жизнь я воевал, и пусть-ка мне подсунут тягомотину – черта с два!

Корнюха верил, что все задуманное в точности сбудется, и сладко ему было говорить об этом Настюхе, суженой своей, жене невенчаной.

Но с началом полевых работ ездить на свидания стало некогда. Целый день шагал за однолемешным плугом, вспарывал пырейную землю. Ни лошадям, ни себе не давал никакого отдыха. А весна стояла прямо на заказ – теплая, дождливая. И больше всего ночами дождик шел. Потрусит с вечера, а утром всходит солнце теплое, в небе мороку нет, только облака белые. Над зеленеющими увалами жаворонки поют, нагретый воздух течет-течет к небесной сини. С веселым остервенением работал Корнюха. Босой, без рубахи, ходил за плугом по прохладной мягкой борозде, покрикивал на лошадей, мурлыкал себе под нос:

– Родимый ты мой батюшка, жениться я хочу! – Не шутишь ли, Иванушка? – Ей-богу, не шучу. – Женись, женись, Иванушка. У мельника есть дочь, красивая, богатая за тебя не прочь. Хотя она горбатая тронута умом, зато уж с ней приданое такое вот возьмем: коровушек, лошадушки двадцать пять овец...

Дальше он песню не помнил. Помолчав немного, начинал сначала: больно уж легко она пелась. Пробовал партизанскую петь, да плохо выходило. Не для одного такие песни.

Однажды, разворачиваясь в конце гоней, заметил на вершине увала двух всадников. Неторопливой рысью они ехали к нему со стороны бурятского улуса. Ладонью Корнюха заслонился от солнца, взгляделся. В одном из всадников он узнал Лазурьку, другой был незнакомый пожилой бурят.

Они подъехали, спешились, сели на траву.

– Пашешь? – спросил Лазурька.

– Ковыряю понемногу.

– Пискуна обрабатываешь? – Лазурька лизнул край бумажки, склеил папироску, подал кисет буряту, и тот принялся набивать трубку.

– Для себя стараюсь, на кой мне ляд Пискун, – помолчав, ответил Корнюха, что-то неладное чулось ему за всем этим разговором.

– А плуг, лошадей он тебе подарил? – В глазах Лазурьки скакнули и пропали насмешливые искорки.

– Нет, советская власть на блюдечке преподнесла – бери, Корней Назарыч, за пот твой, за кровь твою плата. – Корнюха выдернул из земли плуг, черенком бича счистил налипшую землю. Лемех жарко вспыхнул на солнце, свет ударил в лицо Лазурьки. Он отвернулся.

– Глупости городишь... Не на ту дорогу повернул. У Пискуна среди зимы льдом не разживешься, а ты хочешь с его помощью достаток добыть. Дура! Почему с ним договор не заключил?

– Я же не в рабочих... А вообще, чего проскребашься?

– Стало быть, не в рабочих? Хозяин? Так почему же ты, хозяин, пашешь земли, которые не наши? Еще прошлой осенью они к ним вот, к бурятам, отошли. Так же, Ринчин Доржиевич?

– Так, – подтвердил бурят. – Коммуну тут делать будем. Большое общее хозяйство делать.

– Ты меру шуткам знай! – рассердился Корнюха.

– Какие уж тут шутки... – Лазурька бросил окурок, вдавил ногой в землю.

– Дай закурю. – Корнюха взял кисет, оглядел вспаханную полосу.

Пласты земли, сшитой корнями пырея, ровными рядами переваливались через увал, исчезали за ним в логотине.

– Ты почему молчал до сей поры? – После того как Игнат сжег табак, Корнюха не курил, и сейчас, от первой же затяжки, голова пошла кругом, тошнота к горлу подступила – бросил папироску. – Выжидал, когда до соплей наработаюсь? А еще вроде бы друг...

– А ты спрашивал у меня, советовался? – Лазурька поднялся, кинул повод на шею коня, вскочил в седло. – Вперед будешь знать, как от своих товарищей откалываться и под кулачьем боком гнездо вить. Будь у тебя договор, сельсоветом заверенный, содрал бы с Пискуна за работу, а теперь получишь кукиш с маком.

Бурят, прежде чем сесть на коня, вынул изо рта трубку, обвел ею вокруг себя, сказал:

– Давай, паря, освобождай землю.

– Пошел ты к черту! – процедил сквозь зубы Корнюха.



Не понял бурят, переспросил:

– Ты как сказал?

– Вали отсюда, а то скажу, не рад будешь! – Корнюха пошел выпрягать лошадей.

В тот же день на взмыленном коне он примчался в деревню и – прямо к дому Пискуна. А дом заперт на замок. Сообразил: в поле... Поскакал туда.

Оба Пискуна – отец и сын – сидели под телегой в холодке, полдничали. Лошади стояли на привязи, хрумкали овес. Над гаснувшим огнем висел на треноге тагана чайник. Не здороваясь, не слезая с коня, Корнюха закричал:

– Ты что же это, старая кадильница, кочерыжка недоеденная, дурачить меня вздумал?

На четвереньках выполз Харитон из-под телеги, заморгал слепенькими глазами непонимающе, с испугом:

– Что приключилось? Сказывай скорее!..

– Зачем чужие земли засеивать заставил? А ну говори, не то дерну бичом вдоль спины – рубаха лопнет! Кого дурачить вздумал, старая балалайка!

Пискун тихо засмеялся, придерживаясь за обод колеса, горбатясь старчески, поднялся, сел на телегу.

– Тьфу, как с цепи сорвался! Думал, случилось что. А язык не распускай, не лайся, нехорошо это.

Малость сбитый с толку смехом Пискуна, Корнюха проговорил тише:

– Погляди на него – смеется!.. Чему обрадовался?

– Не разговаривай с ним, батя! – подсказал из-под телеги Агапка. – Еще бы он орал на тебя.

– Сиди там! – Харитон болтнул ногой, достал пяткой плечо сына. – На ту землю у меня бумага имеется. Арендную ее у сомонного председателя, у Дамдинки Бороева. Что ты думаешь, дурнее твоего Лазурьки? Как бы не так! – Пискун весь сморщился, засмеялся, но смех у него вышел не заправдашний, силой выдвленный.

– Ты чего-то крутишь, старик. Бумага у тебя, а землю буряты требуют.

– Дак и у них не без горлодеров. Баламутов всяких и там хватает. Но их Дамдинка приструнит. Не все же председатели такие, какого нам бог послал. Сегодня же в улус сбегая.

– Батя, ты на него, на Корнейку, бумагу переделай.

– А ить верно! – хлопнул себя по острому колену Пискун. – Справно варит твоя голова, сынок. Что, Корней Назарет, подходит тебе это?

– А за аренду я платить?

– Ни боже упаси. Только бумага на твое имя будет, чтобы Лазурька не бесился. Я-то для него кость в горле. Тебя же мотать не посмеет. Все будет по закону.

– Ну давай, так сделай. Да смотри не вздумай жульничать! – Корнюха уже остыл и пристрашивал Пискуна так, для порядка.

– Чудной ты какой! Зачем мне жульничать, если и по-честному вести с тобой дело выгодно. Могут они и еще к тебе приехать. Но ты живей засевай пашню. Засеешь – не сгонят, тут советская власть за тебя вступится. Ну, теперь смикитил, что к чему? Парень ты ухватистый, не то что твой братуха старший. С тобой мы еще провернем и не такие дела. Есть одна задумка... Ты слезай, покалякаем.

Корнюха сел на телегу. Старший Пискун подал ему кружку чая:

– Пей... Коня-то как уделал. – Пискун осуждающе покачал головой, погладил потный круп лошади. – Беречь надо животную. Она хотя и не твоя, а все же кусок хлеба на ней зарабатываешь. У меня в городе знакомый начальник есть. Посулился мне молотилку достать. Одному мне ее содержать неподсильно. Давай припаряйся. Еще двух-трех мужиков сговорим, и будет у нас свой купиратив. А?

– На какие шиши я буду покупать молотилку?

– Экий ты непонятливый. Куплю я на свои любезные, но надо, чтобы видимость была, что не моя она. Ты осенью будешь хлеб мужикам обмолачивать. А это живая копейка. Сто сулонов обмолотил – три рубля отдай. Ну как, глянется тебе это дело?

Нельзя сказать, чтобы Корнюхе это сильно поглянулось. Слишком уж все заковыристо и не совсем чисто. Но и лишний рубль упускать в его положении было бы дуростью. Сказал нетвердо:

– Вези машину... там посмотрим.

– Машина скоро будет во дворе.

Возвращаясь на заимку, Корнейка крутил головой, удивлялся. Ну и жох этот Пискун, ну и прохиндей!.. Что ему Лазурька со своей властью? И его, и власть вокруг пальца на дню шесть раз обведет. А Лазурька еще с попреками: «У кулачья под боком гнездо вьешь». Под твоим боком не больно-то совьешь. Власть, она навроде чернильницы-непроливашки, какие у городских ребятишек бывают. В нее чернила заливай хоть ложкой, а обратно будешь доставать по капельке. А что эти капельки, если у тебя ничего нет? Поневоле пойдешь к Пискуну. Да и нет в этом никакого позора. Не разбой, не воровство это, так что нечего Лазурьке с попреками соваться. Каждую копейку, прежде чем в руки получить, потом своим омоет... И бурятам ничего не сделается, если погодят со своей коммунией. Но прохиндей прав, торопиться надо. А что, если Максимку с Тришкиным конем дня на три-четыре залучить? Здорово будет. Тришка и не узнает, а Лучка, если ему известно станет, слова не скажет.

Корнюха так обрадовался этой мысли, что тут же повернул измученного коня и потрусил на заимку Трифона Толстоногого.

## IX

Не сразу согласился Макся помочь брату. Сидел на пороге зимовья, не отвечая Корнюхе. В распахнутые двери степь дышала горечью трав, запахом овечьей шерсти, прелого навоза.

Спутанная лошадь скакала к речке, брякая боталом.

– Ты почему стал таким боязливым, Максюха? – наседали на него Корней.

Брат думает, что он, Макся, боится Тришки. Кабы это! Два дня назад, поздно вечером, когда они с Федоской ужинали у огня, к ним тихонько подъехал всадник. За спиной у него, в свете костра, тускло взблескивал винтовочный ствол, сбоку, оттягивая пояс, топырилась кобура нагана.

– Здорово, мужики! – гаркнул всадник, легко соскочил с лошади, протянул Федоске повод. – Расседлай.

Сам сел на корточки у огня, снял плоскую барашковую шапку.

– Приглашай ужинать.

– Придвигайся. – Макся впервые видел этого человека. Наголо остриженная голова, короткая черная борода, реденькие усики нависли над толстой верхней губой. Стигнейка Сохатый!

– Что смотришь, патрет мой ндравится? – Стигнейка сдвинул кобуру, сел, по-бурятски подвернул под себя ноги, широко перекрестился, взял Федоскину кружку с чаем, кусок хлеба. – Почему не спросишь, кто я?

– Догадываюсь.

– Не боишься? – Стигнейка шевельнул в улыбке толстую губу.

– Видели кое-что и пострашнее.

– До чего смелый парень! – усмехнулся Стигнейка.

– Приходится. На смелого собака только лает, а трусливого в клочья рвет.

– Занозистый ты. Язык у тебя длинный. Слышал ли, что кое-кому языки укорачиваю?

– Слышал, как же, а видеть не доводилось. – Макся хотел встать, но Стигнейка надавил на плечо, приказал:

– Сиди! Поговорить с тобой охота. – А сам метнул быстрый взгляд на зимовье, крикнул Федоске: – Неси сюда свое ружье!

– Нет у нас никакого ружья, не бойся. Разве Татьяна пульнет кочергой из окошка. Но не должна бы, она у нас девка смирная. – Макся чувствовал, что нельзя, опасно так разговаривать со Стигнейкой, а сдержаться не мог, его так и подмывало позлословить, пощипать Сохатого со всех сторон. – Сам подумай, для чего нам оружие? Тебе оно, конечно, нужно...

– Мне, слов нет, нужно, а для чего – понимать надо.

– Я понимаю... Для чего волку зубы, рыси когти – как не понять.

Стигнейка перестал жевать хлеб, резко поставил кружку на землю.

– Замолкни, щенок! Из-за кого я винтовку который год в руках держу? Мозоли на ладонях набил. Ни бабы у меня, ни хозяйства. Из-за кого?

– Из-за большевиков, думаю.

– А то из-за кого же?

– Ну и я говорю – из-за них. Они тебя к Семенову служить погнали. Они заставили с самыми подлыми карателями спознаться. Всё они, большевики да комиссары красные.

Не понял Стигнейка скрытой насмешки или пропустил ее мимо ушей, подхватил:

– Да, они всю жизнь изуродовали! Я уже тогда видел, куда приведут комиссары. Но ничего, им тут житья не будет. Уж цари ли не гнули, не ломали семейщину, проклятое никонианство навязывая, а что вышло? Большевики хуже Никонки-Поганца. Совсем веру извести хотят. Пусть попробуют! Зубы обломают.

– Едва ли... Не верой одной сыт человек. А потому ни тебе, ни другим не поднять людей за двуперстный крест. Теперь, после войны, люди с понятием стали.

– Ты рассуждаешь как партийный, – зло прищурился Стигнейка.

– А я, может, партийный и есть...

– Да нет. Кто у нас партийный, я знаю. Все они у меня помечены. Ты красненький; да и то с одного боку, с другого еще зеленый, незрелый. Но помни: чуть чего, не погляжу, что молодой.

К огню подошла Татьяна, опасливо покосилась на Стигнейку, собрала пустую посуду, унесла в зимовье.

– Лукашкина сестра? – спросил Стигнейка, провожая ее взглядом. – Ничего, бравенькая деваха.

– Ее не задевай!

– Ишь ты, сердитый... Ну давай, веди меня ночевать.

В зимовье Стигнейка проверил, не открываются ли окна, велел Татьянке наладить постель на полу у порога и, не раздеваясь, лег спать. Сказал, вынимая из кобуры наган:

– Ненадежный ты парень. А мне сказывали: ерохинские ребята ничего. Ты ненадежный, зато умный, сообразишь, что стоит брякнуть обо мне где не надо – и твоя шмара длинноконая, твои братья и ты сам сразу же получите по конфетке, от которых кровью рвет. Понятно? Каждый твой шаг мне будет известен. Лазурька охрану каждую ночь выставляет, поймать меня хочет. А я лучше самого Лазурьки знаю, где, за каким углом его караульные дремлют.

До полночи не мог заснуть Макся. Из всего разговора с Сохатым больше всего запало в душу вскользь оброненное замечание: «Ерохинские ребята ничего». «Мразь, дерьмо собачье, с каких это пор красные партизаны стали для тебя ничего! Не было, нет и не будет у нас с тобой мира, бандюга! Но кто ему сказал такое? Когда, чем дали братья повод для такого навета? Может, тем, что, в хозяйстве увязнув, ничем не помогают Лазурьке? Или хуже что? Да нет, не должно... Ну да ладно, с этим потом разберемся. А сегодня я тебе, поганец, покажу, какие они, „ерохинские ребята“».

К боку Максима жался Федоска. Боялся парнишка. Макся обнял его, шепнул: «Спи, ничего не будет». И Федоска заснул. А Татьяна не спала, это Макся чувствовал по ее дыханию. Она лежала тут же, на нарах, у печки. Он протянул к ней руку. Татьяна схватила ее обеими руками, крепко сжала.

Сохатый спал, слегка посвистывая носом. Макся обдумал, как будет действовать. В трех шагах от нар, в подпечье лежат березовые поленья. Добраться до них. Потом на цыпочках к Сохатому. Хватить разок по голове – не дрыгнет. Только бы не промахнуться!

Освободив руку, Макся неслышно сполз к краю нар, спустил на пол босые ноги, встал.

– Куда? – в темноте шелкнул предохранитель.

– Пить хочу. – Макся протяжно зевнул. – Тебе, поди, докладывать об этом?

– Да!

– А если по нужде? Тоже?

– Да!

– И по какой нужде – уточнять?

– Ложись!

Макся зачерпнул из кадки воды, попил для отвода глаз, вернулся на нары, досадуя на кошачью чуткость Стигнейки: Татьяна подползла к нему, дыхла в ухо:

– Не вздумай чего, Максюшка. Я боюсь.

– Трусиха? – так же тихо спросил он.

– Ага. Погляди, какие у него глаза. Оледенелые.

– Эй вы, я не люблю, когда мне мешают спать! – крикнул Сохатый.

– Тебе твой страх мешает...

Ладонью Татьяна закрыла ему рот.

– Молчи, Максимушка, молчи, ради бога! Не зли его, родимый...

На своей щеке он почувствовал ее губы – робкий поцелуй. А может быть, ему только показалось, может быть, Татьяна невзначай прикоснулась губами?

Утром Стигнейка все время разглядывал Татьянку серыми, выстуженными глазами, разглаживая пальцем усики.

Уезжая, сказал:

– Буду, видно, навещать сюда... Так ты, еще раз говорю, не звякай обо мне. Иначе – смерть! И воду пей с вечера.

...Все это сейчас вспомнил Максим. В другое время он бы с радостью помог Корнюхе. Но как теперь быть? Как оставить на заимке Татьянку и Федоса без взрослого мужчины? Правда, он посылал Федоса в деревню предупредить Лазурьку, и председатель велел пока что помалкивать, не говорить никому ни слова. Что он там задумывает, кто его знает. Пока подготавливается, Сохатый может не раз побывать на заимке. А поди угадай, что у него на уме.

Корнюха, не зная, как истолковать молчание брата, обиженно спросил:

– Да ты никак подсобить мне не хочешь?

– Почему же не хочу. Но не знаю... Как думаешь, Танюха? – Взглядом спросил, боится ли она остаться с Федоской. «Боюсь», – ответили глаза Татьянки. Но сказала другое:

– Поезжай, Максим. Все будет хорошо. Нет, правда поезжай. С работой мы одни справимся.

– Ну хорошо, поехали.

Только дорогой Корнюха рассказал Максе об истории с землей, да и то не все рассказал, а так, самое необходимое. Макся все это не одобрил.

– Надо же, впутался! – сказал он. – Пискун тебя приберет к рукам.

– Не такие у него руки, чтобы меня прибрать.

И нотки самохвальства, проскользнувшие в голосе Корнюхи, не понравились Максиму. Повернулся к нему:

– Отгадай, братка, загадку. По-бычьи мычит, по-медвежьи рычит, а наземь падает, землю дерет.

– Это про кого же? Должно, зверь какой-то. Тигра, может?

– Нет, не тигра. Жук. А тигром кажется, да?

– Ты опять что выдумал? – забеспокоился Корнюха. – Разговаривай, как все люди, брось эту моду слова вверх дном переворачивать. Иной раз трудно с тобой говорить.

– Не все легкое – хорошее, ты и без меня это знаешь, а все равно богатства хочешь одним прыжком достигнуть. Не то на ум себе взял, братуха.

– Ну-ну, поучи. Игнат с одной стороны, ты с другой... Так я скоро стану умнее вас обоих. – Корнюха тронул коня, поскакал рысью.

В седле сидел он ловко: черные, с землей под ногтями руки крепко держали поводья; пузырилась на спине припыленная рубаша. Каким-то особенно крепким, сильным показался сегодня Корнюха Максе. Даже недельная щетина на его щеках и та как бы подчеркивала здоровье засмуглевшего лица. Если уж Макся завидовал чему, так это могучности своих братьев. Что Игнат, что Корнюха – каждый сильнее его раза в два. Он решил не возвращаться к затеянному разговору, но его возобновил сам Корнюха:

– А ты что, братка, за то, чтобы мы дальше бедствовали? – Корнюха придержал коня.

– Не так уж мы и бедствуем... Но я о другом думаю. Скажем, ты разбогател. А дальше что?

– Нашел об чем спрашивать! Жить буду.

– Как жить? Как Пискун? Или Тришка, Лучкин тесть?

– Что ты меня с ними равняешь! Оба рылом не вышли, чтобы по-человечески жить. На это у них толку не хватает.

– Да нет! Понять меня не хочешь... Стал ты, например, богатым и начнешь ездить на работниках, на родственниках неимущих. Как другие делают. А против кого мы воевали?

– Ну ты и хватил! – засмеялся Корнюха, потом задумался, тряхнул головой. – А хошь бы и так... В Бога нас верить отучили, на рай я не надеюсь, а жизнь у меня одна-единственная, запасной нету. И никто мне эту жизнь хорошей не сделает, если сам не постараюсь.

– А какая жизнь хорошая?

– Это и вовсе понятно, – не задумываясь, ответил Корнюха. – Когда у тебя всего вдоволь – в самый морозный день ясно. Нужда человека не красит, озлобляет. Возьми Петрушку Трубу. Помню его молодым. На вечерках, бывало, наяривал на гармошке любо-дорого. Епистимея, баба его, голосистая была, заведет песню – за сердце берет. А намерен я ездил на мельницу, чаевал у них. В избе грязно, ребятня в рвань... Про гармошку и песни не упоминают. Какие уж там песни! Их ругань заменила. Грызет Петрушку баба с утра до ночи. Обида ей, мужик детишек понаделал, а прокормить не может. И вот ведь что худо, привык Петрушка к нужде и к бабьему скрипу, живет, будто так и надо. А я бы к этому не привык. Я лучше удавлюсь, чем так жить.

На этот раз Максим промолчал, не нашел, что сказать в ответ. С одной стороны, прав Корнюха, слов нет. С другой, неладное что-то в его рассуждениях. Взять Лучку. Уж у него-то все есть, живи, радуйся. А не может он радоваться, ест ему нутро какая-то болячка. Разворот ему нужен, воля нужна. Но воли ему не видать, даже после смерти Тришки. Хозяйство забот требует, чуть опусти руки – уплыло. Или вон Стишка Белозеров, его, Максима, однолесток, секретарь Совета. Самостоятельно грамоту одолел, писать протоколы лучше всех научился, первым в деревне иконы с божницы скинул. Богатству Стишка не завидует, больше всего тешит его душу то, что он – власть, что сила за ним стоит огромная. И люди чувствуют это, величают не по летам: «Стефан Иванович», хотя совсем недавно был просто Стишка Клохтун. Корнюха – одно, Лучка – другое, Стишка – третье, Игнат – четвертое... Каждый ждет от жизни чего-

то своего, каждый в свою сторону тянет. Может, потому-то и живет до сих пор Стигнейка Сохатый, топчет землю сапогами, запачканными людской кровью.

По кремнистой тропе они поднялись на сопку, вспугнули стадо баранов. На вершине другой сопки сидел Федоска, рядом – девчушка-бурятка в длинном старом халате и островерхой шапочке с красной кисточкой на макушке. Эту девчушку, пастушку из улуса Хадагта, и Максим и Татьяна не раз видели вместе с Федоской. Шутили: «Женись на ней». Федоска вспыхивал маковым цветом, бурчал: «Да ну вас!..»

Максим направил коня к ним. Оба вскочили, роняя на землю цветы ургуя. Девчушка глянула на Максима черными-черными, как угли, глазами, резко взлетела на лошадь и галопом поскакала за сопку.

– А что она убежала? – спросил Максим.

– Откуда же я знаю. Приехала, уехала, какое мое дело.

– Я уезжаю дня на три-четыре... Ты тут посматривай. В случае чего – дуй на заимку Харитона Пискуна. Знаешь, где она?

– Знаю.

Почти одновременно с братьями на заимку прискакал Агапка.

– Батя бумагу выправил. – Он подал Корнюхе вчетверо сложенный листок.

Тот развернул его, быстро глянул на подпись, на печать и спрятал в карман.

– Хавронья, мне с тобой поговорить надо. – Агапка вышел на улицу, Хавронья побежала за ним.

Корнюха достал бумагу, не торопясь прочитал, сказал с завистью:

– Да-а, Харитон – мужик сильный.

Агапка уехал, не заходя больше в зимовье, а Хавронья вернулась расстроенная, села на лавку, всплеснула руками:

– Вот горюшко какое! Присоветуйте, ребята, что мне делать. Агап Харитонович последнее слово сказал: если дочка до осени не приедет, он на другой женится. А я ее сюда залучить не могу. Домишко не продает, в работники нанялась.

– А что он сам туда не поедет, не посватает? – спросил Корнюха.

– Зачем же он поедет, если она за него идти не хочет? Тут-то бы она не отвертелась.

– Не хочет – зачем неволишь? – сказал Максим. – Жизнь ей погубишь, больше ничего.

– Ты молодой еще, в жизни мало понимаешь. Свои дети будут, тогда узнаешь. Каждому родителю хочется свое дите лучше пристроить. Такого жениха упустить – да ты в своем ли уме, парень? Поеду я к ней. Ты тут один побудешь? – спросила она Корнюху.

– После сева...

– Отпусти сейчас. Привезу ее. За косы притяну, если добром не пойдет. Отпусти, голубчик!

– После сева, может, что-нибудь сделаем, – нахмурился Корнюха.

– После сева? Да у меня за это время вся середка выболит.

– Ничего твоей середке не сделается. Сейчас даже не думай. Тебе же коня надо? Надо. И коров без присмотра не оставишь. И доить их надо.

– Брательник твой попасет. На коне попашешь, а подоить уж как-нибудь вдвоем подоите.

– Правда, что волос длинный, а ума ни черта нет. Распределила! Затем только и позвал Максьюху, чтобы ты по гостям разъезжала. Пошли, Макся, запрягать.

Хавронья горестно сложила на груди руки, в ее глазах заблестела влага. Максим задержался в зимовье, ласково сказал:

– Вы не печальтесь, мать. Никуда Агапка не денется. И не надо отдавать дочку силой.

– А что же, ждать, когда за голодранца выскочит?

– Не любит же она его...

– Ха, любовь... Про нее говорят мужики, когда к девке или вдовушке подлаживаются, а что любовь, если баба – его собственная.

Корнюхе Максим сказал:

– Ты бы с ней как-то по-другому говорил...

– А ну ее к черту, кобылу старую! На чужое добро рот разевает, а укусить не может – зубы сношены.

Сказал это Корнюха со смехом, но все равно Максе стало за него неловко. У Хавроньи, конечно, дурь в голове, а все же нельзя с ней так...

Проработал Макся на заимке три дня. На несколько рядов проборошил пахоту, выдирая из земли белые корни пырея. А Корнюха все пахал и пахал. Он бы, наверно, дай ему волю, распахал все увалы.

Работу кончили вечером. Край неба на западе был схвачен зоревым пламенем, пыль, поднятая бороной, красная в лучах закатного солнца, медленно плыла над увалами, тонула в зелени леса. Корнюха вытирал подолом рубахи потное лицо, смотрел на черный бархат пашни.

– Ишь сколько мы с тобой наворочали! Эх, кабы это поле да было нашим... Но ничего, братуха, будет урожай – в накладе не останемся. Ты, может, еще побудешь день-два?

– Нет, братка, надо ехать.

Собрался уезжать, на заимку прискакал Лазурька.

– Я тебя разыскиваю, – сказал он Максиму. – Был на заимке, сказали – ты тут...

– Зачем он тебе? – насторожился Корнюха.

– Есть одно дельце... А ты меня не послушался-таки. На себя будешь потом пенять, Корнюха.

– Ничего, обойдется. – Корнюха достал бумажку, развернул, не выпуская из рук, показал Лазурьке. – Ну как? Что ты теперь скажешь?

– Чудно что-то... – удивился Лазурька. – Дай мне бумагу.

– Э-э, нет! Бумагу я бы и батьке родному не дал. А тебя попрошу, Лазарь, ради нашей дружбы не шабутиться. Дашь мне слово?

Лазурька помолчал, поиграл пальцами на столе, поднял глаза на Корнюху.

– Сам смекаешь, что не все тут ладно? Тем хуже для тебя, Корнюха. Не буду я это дело ворошить, буряты и сами как-нибудь разберутся. Но учти: попадешься со своими хитроумными увертками – худо тебе будет. Поехали, Максим, провожу тебя малость.

Солнце уже село, на красном небе горел один тонкий луч, будто кто огненным резцом черкнул. Но и тот луч быстро укорачивался, наконец исчез. Заря стала густеть, обугливаться по краям, уменьшаться.

– Завтра будет ведро, – сказал Лазарь. – Я что к тебе... Возьми эту штуковину.

Он достал из кармана вороненый револьвер, крутнул барабан, подал Максиму. Из другого кармана достал горсть патронов.

– Сгодится. Это мой партизанский, у офицера отобрал. Дарю тебе.

– А как же ты? Тебе он нужнее.

– У меня еще есть. Стигнейку, если удастся, попытайся взять живым. В самом крайнем случае прихлопнуть можно. Очень он живой нужен. Не можем никак под его корешков подкопаться. Ты Корнюхе ничего не говорил?

– Нет.

– И не говори. Не надо.

– Ты что о нем так?... Ты это бросай, Лазарь. Я ему не говорил и до времени не скажу, порядок знаю, но подозревать...

– Не подозреваю я, чего ты вскипел! Не его подозреваю. Пискуны, чувствую, Стигнейке опора. А уличить нечем. Ни их, ни других. Кто-то из наших им все разговоры передает. Тяжело, Максимка. Говоришь с мужиками, а у самого на уме: может, этот, может, тот вон ночью в

кулацкий дом наши задумки крадучись понесет. Друзья старые не все понимают, одно у них на уме – хозяйство. И ячейка маленькая, трое нас всего: Абросим Кравцов, Стишка да я. – Лазурька натянул поводья. – Поверну тут домой... Поезжай. Будь осторожен с тем гадом. На разговоры не набивайся. А то мне Татьяна рассказывала... И вот что, Максюха, главное... Пиши заявление в ячейку. Ты еще в партизанах, помню, собирался.

– Было такое. Потом меня царапнуло, отлеживался...

– Надо, Максюха... Будет собрание – дам знать. Ну, удачи, дружище!

Рассыпав частый цокот подков, Лазурька ускакал. Макся посмотрел на проступающую из тьмы звездную сыпь, вздохнул. Надо бы поговорить, а он уехал. Но, поди, и лучше так-то. Тут своим умом решать надо, без пособников. Когда ходил с братьями на заработки, был рад, что не вписан в партию. Только бы числился... Теперь, кажись, подошло время выбирать свою дорогу. Не одобряют его выбора братья. Нехорошо как! Завсегда вместе были, а тут вроде подошли к расстаням, и дальше каждый свой путь держит.

Подъезжая к заимке, он не увидел огня, не услышал лая собаки. Встревожился, погнал лошадь галопом. Подлетел к зимовью, прыгнул с седла. На стеклах слепых окон мерцали, отражаясь, звезды, за пряслами двора сопели овцы, на огнище красным глазом светился горячий уголь.

На стук за дверью откликнулась Татьяна. Голос ее прозвучал испуганно. А он, радуясь, закричал:

– Я это, я!

Откинув крючок, Татьяна зажгла лампу и, кинув за плечо косу, вся потянулась к нему, будто стебель ковыля под ветром, но застеснялась, попятилась к столу, оперлась о его край руками.

– Таня... – Это слово вырвалось у Максимки само собой. Впервые он ее назвал так – Таня. И прозвучало ее имя совсем иначе.

С нар соскочил Федоска, сел на лавку у стола, проговорил:

– Думал: он – стук такой резкий...

– Кто – он? – На минутку Макся совсем позабыл о Сохатом, но тут все вспомнил, похолодел. – Опять наведывался?

– Сегодня был. Только что уехал.

Макся невольно потянулся к карману, оттянутому револьвером.

– Татьяна, это правда?

– Ага... Только уехал Лазарь Изотыч, он и появился. Едва разминулись. А я тут одна, Федос-то на пастбище был.

– Ну и что? – торопил ее Макся.

– Про тебя спрашивал. Собаку застрелил. Буду, говорит, к вам ездить, так чтобы не гавкала. Ужинал здесь... – Татьяна замялась, замолчала. Она чего-то, кажется, недоговаривала.

Макся попросил Федоса расседлать коня и, когда он вышел, спросил:

– А еще что? Все говори, Таня, все...

Даже при тусклом свете лампы было заметно, как вспыхнуло лицо Татьянки, она потупилась, кашлянула.

– Он... он лез обниматься... Такой охальник. А руки у него потные, склизкие. Бабой, говорит, моей будешь, обвенчаюсь с тобой.

Макся сел, долго молчал, стискивая кулаки.

– Стерва! – наконец сказал он. – Я его обвенчаю с гробовой доской!

– Боюсь я, Максим. Страшно... – Татьяна поежилась.

– Ничего, Танюша, ничего... – Он взял ее за руки, усадил рядом, обнял за плечи. – Теперь я вас одних не оставлю.



## Х

Игната разбудил дождь. Звонкие струи расхлестывались о стекла окон, дробью сыпались на крышу. Во дворе тускло светились заплаты луж, на них плясали дождевые капли, вздувались и лопались пузыри, за воротами в канаве вспенивался ручей. Все небо было затянуто сумеречью. Дождь вроде бы окладной. Слава тебе господи, помочка добрая будет. И передохнуть можно. Устал Игнат за вешнюю до смерти.

Не торопясь, позевывая, он оделся, пошел доить корову. Сарайчик протекал, корова чуть ли не по колено стояла в раскисшем навозе. Надо было дранья надрать и поправить крышу, а когда? Хлеб, правда, посеял, но зеленка на очереди, пары, а там уж и сенокос не за горами, за сенокосом – страда. Зря, видно, послушался тогда Корнюху, отказался от женитьбы. С Настей жилось бы куда как легче. Теперь она почти не помогает, самому надо и коровенку доить, и убираться. Хочешь не хочешь – вставай ни свет ни заря и принимайся за муторную бабью работу, да спеша, а то в поле выедешь позже всех, и мужики просмеют. Вечером всем другим отдых, а ему снова домашняя маета. Кроме всего – Лазурька. То и дело гонит в ночной караул Стигнейку ловить. Пока что Стигнейку ни один караульный в глаза не видел, не дурак он, Стигнейка-то. Но все-таки польза от караулов есть. Воровство поубавилось, давно никто не шарит по амбарам, по омшаникам. Это хорошо. Это Игнат одобряет. Тяжело только без передыху, шибко тяжело. Эх, зарядил бы дождик дня на два-три, то-то поспал бы...

Корова в грязи стоять не хотела, переступала с ноги на ногу, головой вертела, норовя поддеть его рогом. Но он на нее не злился, почесывал мокрый бок, уговаривал:

– погоди маленько, Чернуха, сейчас на волю выпущу. погоди... Не глянется хозяин? Настюха, конечно, обходительнее, но видишь, как с ней получается.

Выпустив корову на выгон, Игнат за воротами постоял, поджидая, не покажется ли во дворе Изота Настюха. Но за глухим заплотом было тихо, – должно, успели убраться. Вон из трубы дымок тянется, стало быть, печку топят, Настюха, может, блины к чаю стряпает. Пойти бы к ним, да все равно не поговоришь при людях, если уж без людей, наедине ничего ей не мог сказать. Сколько раз собирался, но все откладывал. Опасался: ну как получит полный отказ, тогда что? Потихоньку выспрашивал у молодых ребят, не гуляет ли она с кем, – нет, не гуляет. Когда так, тянуть нечего, сказать ей все, а там будь что будет. Ей и разжевывать не надо, чуть намекнуть, дальше сама обо всем сдогадается. Верится, не оттолкнет его Настя, не позарится на другого. Сегодня она придет, в другие-то дни ей некогда, тоже в поле работает. Придет ли? Если придет, все будет хорошо, если нет...

Оттого, что льет дождь и можно отдохнуть, от ожидания встречи с Настей Игнату было как-то по-особому хорошо. Возвращаясь в избу, он снял шапку, подставил голову под струю воды, сбегавшую с крыши, умылся. Дома навел полный порядок, ножом выскоблил пол, посыпал его речным песком, затопил печку. И ему почему-то все время казалось, что сегодня не просто вынужденная передышка, а праздничный день.

Все сделав, лег на кровать, но не спал, лениво потягивался, смотрел в окно, слушал то затухающий до тихого шепота, то буйно вскипающий шум дождя. Над селом низко-низко плыли тучи, их растрепанные космы местами свешивались почти до крыш, почти цеплялись за трубы. Свет был серый, вялый, а в избе радовала глаз желтизна песка на полу, сухое потрескивание дров в печке, всплески отсветов огня, играющие на стене.

Когда под окном кто-то прошлепал по лужам и стал подниматься на крыльцо, Игнат вскочил, одернул рубаху. Но гость был неожиданный. Пришел Стишка Клохтун. Держась за скобу двери, сказал:

– Собрание бедноты сегодня. Приглашаем.

Стишка, наверное, обегал всю деревню, ичиги его были заляпаны грязью, рыжий, выношенный зипун мокро повис на худых плечах, тонкие губы посинели от холода. Жалко стало парнягу.

– Садись к печке, обсушись, не то простынешь.

– Некогда мне. Вот если чаек горяченький...

– Есть. Зеленый, по-бурятски заваренный.

– Тем лучше. – Не вытерев ног, не сбросив зипуна, в шапке Стишка сел к столу. На желтом полу остались грязные пятна, скатерка на столе под его локтями потемнела, стала мокрой.

Не сдержался Игнат, взглядом показал на следы, на скатерть, упрекнул:

– Экий ты неаккуратный. Скинь хоть шапку.

Чуть-чуть про себя усмехнулся Стишка, но шапку снял. Торопливо глотая горячий чай, он оглядывал избу острыми ястребиными глазами, ни на чем долго не задерживаясь, лишь на иконах остановился, его брови, высветленные солнцем до цвета спелого овса, дергаясь, взъехали на высокий лоб.

– Для чего они у вас?

– Для того же, что и у всех, – с неохотой ответил Игнат.

– А еще красные партизаны! – Брови съехали на свое место и распрямились в стрелочки. – Экая невежливость и культурная недоразвитость.

– Чего бормочешь?! – Игната удивила беззастенчивость Стишки.

– Сними ты эти доски, не пачкай своего звания.

– На свой куций аршин примеряешь? Сперва переживи хоть половину того, что нашему брату досталось.

– Переживали много, учились мало – что толку?

– Уж не ты ли научился?

– Учусь... Каждый день самопросвещением занимаюсь. Иначе теперь нельзя.

– Ну и занимайся на здоровье, может, будет какой толк впоследствии. А пока не шебарши про свою ученость, она у тебя пока что как у зайца хвост: вроде есть, вроде нету. Скажи-ка, если ты такой ученый, что главное в человеке? Чем он разнится от животного?

– Могу, конечно, разъяснить, но это дело долгое и опаска есть: не все поймешь.

– Я, по-твоему, полудурок? – Спесивость Клохтуна и забавляла, и сердила Игната.

– Не полудурок, но отсталости в тебе много. В Бога, наверно, еще веришь? Молишься?

– И верю, и молюсь.

– Ну вот... Однако смотри, Игнат Назарыч, не завели бы тебя молитвы и эти деревяшки, – через плечо Стишка ткнул пальцем в сторону божницы, – прямехонько в кулацкий табор. Для них партизан с затуманенной башкой – находка.

– Другому такое ляпнешь – поколотит.

– Отошло времечко колотить. А богов, боженят, прислужников ихних вскорости поганой метлой из села выметем. Не жди этой поры, худо может обернуться...

– Припугивай других, парень!

– Я не припугиваю. Из уважительности к вам, братьям Родионовым, говорю.

– Оно и видно... Таким манером мало кого возьмешь. Ты, ученая голова, когда-нибудь думал, почему атаман Семенов в восемнадцатом году советскую власть сбросил? Легко сбросил, но сам не удержался. Я не ученый, а скажу. Когда казачня, чехи белые красnogвардейцев били, наши мужики в стороне держались, не успели понять, какая она есть, советская власть. Нам, мол, что ни поп – батька. Ну, пришел Семенов. Засвистели плети. Зачали казачки с мужичьего зада кожу спускать. Тут мужик очухался, поумнел, и Семенова, и его японских пособников погнал...

– Ну и что?

– А то, что не любит мужик, когда его за горло берут или плетью по спине ласкают. Ты мне свою правду так выложи, чтобы я ее мог пощупать со всех сторон. Поверю в нее умом и сердцем – сам от всего откажусь и приму твою правду. А то сидишь, то да се плетешь, но разговор у тебя легкий выходит, как дым от папиросы: дунул – и нет ничего.

Неулыбчивое Стишкино лицо, продолговатое, худощавое и остроносое, слегка порозовело. Резким движением он отодвинул стакан, сказал со скрытым значением:

– Разговор у нас пока, может, и легкий, но рука завсегда тяжелая.

– У вас? Говорил бы ты, Стиха, про себя...

За Стишку, за его настырность неловко было Игнату. Говори так, к примеру, Лазурька, все было бы на месте. Когда ждешь еженощно пули в затылок, поневоле ожесточишься. А этот крови не видел, лютости людской на себе не испытал – с чего такой взъерошенный? Топыритесь индейским петухом, а в суть жизни проникнуть ему не под силу, слаб еще умишком. Хотя есть, видно, умишко, раз книжки почитывает. Или одного ума тут мало, еще что-нибудь требуется?

По дороге в сельсовет, думая об этом, он спросил Стишку:

– Вот ты больше всех бегаешь, новые порядки затверждаешь – с чего? Мы за новую власть жизнь свою отдавали, потому она нам дорога. А что тебе дала власть? В бедности жил до этого, в бедности живешь сейчас.

Стишка натянул поглубже мокрую шапчонку, буркнул:

– А-а, разве ты поймешь?..

– Что ты заладил: не поймешь, не поймешь.

– Конечно! Вы раньше жили крепко. Тебе не приходилось вплоть до снегопада ходить босиком, греть ноги в свежем коровьем дерьме. А мне приходилось. Да не в этом беда. Мы всю жизнь коров пасли. Бывало, всем праздник, нам нет. В праздник есть обычай – пастуху угощение давать. Идешь по улице, собираешь коров, а тебе из окошка кидают кто тарку, кто калач, кто кусок мяса жареного. Ловишь на лету, будто собака, а потом гостинцы те в горле застревают. И это не беда. За человека тебя не считают... Здороваешься, кланяешься, а тебе кивнут – ладно, а то и так, будто мимо столба, пройдут. Но теперь посмотри! Пискун передо мной за десять сажен шапку ломает. Тришка Толстоногий – и тот при встрече в улыбке зубы оскаливает. Знаю я, что у них на уме, когда со мной так здороваются. Да мне-то что!.. Чуешь теперь, на какую высоту меня подняла советская власть, с кем поравняла? Сила во мне сейчас такая, что любого из супротивников как спичку сломаю. За одно это я для советской власти горы переверну.

В сельсовете густо пахло сырой одеждой. Мужики тесным полукругом сидели у стола, забрызганного чернилами. Лазурька говорил о машинном товариществе «Двигатель». Организовали его год назад, но дальше дело не пошло.

– Не пошло, мужики, застопорилось. А почему – о том лучше других знает Еремей Саввич.

Ерема развел руками:

– Все на ваших глазах было, я-то при чем? Записались, считай, все, но стали собирать взносы – взапятки. Еще вступительные так-сяк собрали. Пятьдесят копеек с хозяина... А паевые поболе, пятерка. И пятерку никто не внес...

– Совсем никто? – спросил Лазурька.

– Совсем! В том-то и дело.

– У тебя память никудышная. Пискун внес, Трифон...

– Я и говорю: они внесли, а из бедноты – никто.

Мужики засмеялись. Тараска негромко, но так, что все услышали, сказал:

– Вывернулся! Как намыленный...

– Чего там зеваешь, дурак! – озлился Ерема и сел.

– А дальше что? – не отставал Лазурька.

– Да ничего! – сердито ответил Ерема. – Нет взносов – нет товарищества. На что купишь машины?

– Не пузырься! – Жестом руки Лазурька как бы отстранил его. – Вроде бы неладно получается, мужики, что я каждый раз Еремея щипаю. Но как иначе? О товариществе он не хлопотал, взносы собрать не удосужился. И потом, вслушайтесь: то-вари-ще-ство, хотя и машинное. А какие нам товарищи Пискун и ему подобные? Для чего их приглубил?

– Думал: у них деньги...

– Где они, деньги, тобой собранные?

– Взносы? У меня, целехонькие лежат, можете не сумлеваться.

– Бедняцкие взносы сдай в Совет, кулацкие пятерки верни. Советская власть, мужики, кредит нам отпускает, то есть, по-русски говоря, денег займы дает. Какую машину на них купим?

– Трактор! – Петруха Труба вытянул длинную шею. – Пусть хоть люди поглядят, что это такое.

Мужики подняли Петруху на смех:

– Кого на трактор посадим – тебя, что ли?

– Нет, бабу его!

– Бросьте, мужики, зубы скалить! – прекратил веселье Лазурька. – Трактор нам пока еще не под силу. А вот молотилку...

– Харитон уже купил, – подал кто-то голос.

– Пусть. Куда он с ней денется, когда у нас своя будет, хотел бы я знать? – Лазурька недобро усмехнулся. – Теперь так... На этом дело сворачивать не к чему. Мы на ячейке покумекали и решили, что надо сообща засеять несколько десятин зеленкой. Осенью ее продадим, и у товарищества своя копейка заведется, добавим и еще что-нибудь купим. В будущем году тоже совместно хлеб поседем – снова копейка.

С Лазурькой согласились без лишних разговоров, и он закрыл собрание. Непривычно было, что оно кончилось без шума, ругани, бестолковщины. Тихо-мирно все порешили.

Мужики не расходились. Разговаривали, разбившись на кучки. И разговор был о том же – о молотилке, о товариществе.

– Ловкая штука – машина. Цепом-то пока снопы обколотишь, без рук останешься.

– Не в том гвоздь, что без рук. Быстро. Раз-два – и засыпай хлебушко в закром.

Кому-то втолковывал Лазурька:

– Не одной машиной нам дорого товарищество. Вместе робить научимся и через это без крику перейдем к коммуне или колхозу.

В углу Тараска Акиньфеев смехом заливался:

– Пискуна, мужики, кондрашка хватит. Ей-богу! Молодец все-таки наш Лазарь!

– Оно, конечно, голова Лазарь. А главное, советская власть, – уточнил Ерема.

– Само собой – власть. Но ты тоже председательничал. Прибытку от тебя было, как от быка молока. Председатель!.. Собрал денежки и затаился, будто гусь в траве.

– За такие слова по харе съезжу! – Ерема шагнул к Тараске.

– Она у меня мягкая, не больно будет. – С хитрой улыбочкой Тараска погладил свои пухлые щеки, ушел от Еремы и, подозвав Игната, зашептал: – Идем ко мне обедать. Первач имеется знатный. Лазурьку сговорим.

Насилу отвязался от него Игнат, пошел домой. Там, может быть, уже ждет Настюха.

На улице его догнал Ерема.

– Что тебе Тараска на ухо шептал? Про меня?

– Совсем про другое...

– Сказать не хочешь... – Ерема уныло горбатился под дождем, прятал в воротник ключковатую, с рыжинкой, будто ржавчиной прихваченную, бороду.

– Вы, конечно, все друзья-товарищи. Меня отшибли. Все думаете: сдесертировал из отряда?

– Никто этого не думает, что ты, бог с тобой!

– Будто я не знаю... Партизан я, как и вы. Кровь свою пролил, а какой-то гад слушок пустил, будто из-за поноса отстал от партизанства. У меня сроду поноса не было.

Игнат, веривший до этого больше Ереме, чем злоязычной болтовне, вдруг засомневался в его правдивости. Но виду не подал. Как ни застилаи брехней людям глаза, сам-то будешь знать истинную цену себе, сам себе не соврешь.

Ерема до того разговорился, что прошел мимо своего дома, а когда спохватился, назад не повернул.

– Зайду к тебе? Можно? – Он спросил с вызовом, а в лице, в глазах было что-то приниженное, тоскливое.

«Экий чудак, сам себя мает», – подумал Игнат. Бывают же люди, из кожи вылупиться готовы, чтобы в глазах других себя возвысить, всякие пустяки с ума сводят, обижаются там, где никто не обижает.

В избе Ерема что-то примолк. Скажет два-три слова и смотрит в окно на серое взлохмаченное небо, и на лице у него все густеет, густеет тоска. Стараясь расшевелить его, Игнат заводил разговоры и о том, и о другом... Ерема вроде бы и отвечает, а видно: на уме свое. Будто и хочет что-то сказать, но не может или боится. Уже надоедать стало все Игнату, уж и не знал, о чем с ним говорить, но тут Ерема спросил сам:

– Как думаешь, будет польза мужикам от, того что Лазурька делает? Не обдурит нас?

– Как же он обдурит? И зачем?

– Да, да, конечно... А ты веришь, что жизнь будет лучше ранешной?

– Должна быть лучше. Сколько крови пролито, жизнью сгублено за нее.

– А если все назад повернется?

– Нет, этому не бывать. Вон какая силища перла на нас, своя и заморская, – не повернула. Ерема помолчал, будто взвешивая слова Игната, согласился:

– Не повернуть, где уж... – Вдруг спросил: – Живешь небогато? Рублишек десять не одолжишь?

– Нашел у кого просить!

Ерема подался вперед, выставил ржавую бороду:

– Одолжи, Христом богом прошу. Деньжонки паевые... тютю, нету. По гривеннику, по полтиннику чуть не все вытаскал. Теперь – петля.

– Что же ты на собрании заливал? Обскажал бы все, попросил отсрочку до осени. Свои люди же, не лиходеи.

– Попробуй обскажи... Лазурька без того затыркал, везде корит председательством. А что бы я сделал? Рад бы в рай... Ему что, за ним ничего не тянется, куда хочет, туда поворачивает.

– За тобой что тянется?

– За мной? Это я к слову, это я так. Выручи, по гроб жизни помнить буду!

– Пойми, Еремей...

Не досказал Игнат. Открылась дверь, в избу вошла Настя. На завитках ее волос светились дождевые капли, влажные брови казались темнее, чем были на самом деле. Ерему встретить тут она, конечно, не ожидала, смутилась, спросила о чем-то и ушла. Игнат стиснул зубы от досады. Господи боже мой, надо же случиться такому! Ну не черт ли принес этого Ерему! Теперь она, может, и не придет, и сызнова затянется безывестность.

А Ерема ждал, что он ему скажет.

– Нет у меня денег! Откуда им быть, от сырости?!

– Не сердись... К кому же мне пойти, как не к тебе?

– Нашел богача! Иди к Тришке или Пискуну.

– Не хочу к ним... – тихо сказал Ерема.

– Может, мне за тебя сходить?

– И верно! – обрадовался Ерема. – Попроси у Пискуна, он тебя уважает. Осенью все верну до последней копеечки, а пожелаешь, сверх того дам.

Опешил Игнат. Да он что, в своем ли уме? Уж не свихнулся ли?

– Какую ерунду мелешь? С какой стати пойду?

– Нельзя мне с ним, нельзя! – чуть не застонал Ерема.

Игнат пошел в куть, взял сухое полено, принялся щепать лучины. А Ерема все не уходил, все сидел и ждал чего-то. Понемногу досада у Игната прошла, раздражение улеглось.

– Скажи толком, почему сам не попросишь?

– Что я тебе скажу? Нельзя, и все тут. Ну... не дадут.

Ерема, кажется, что-то скрывал. Черт его знает, запутался, поди, до последней возможности и уже не знает, как выпутаться. Грех не помочь в такой момент. Тем более что помощь эта ничего не стоит. И грех на него сердиться из-за Насти. Нет его вины в том, что помешал.

– Ладно уж, попрошу у Пискуна.

– Знал, что не откажешь! – Ерема сразу взбодрился, повеселел. – Он тебе одолжит. А я с Лазурькой рассчитаюсь и буду чистеньким. Но ты прямо сейчас иди. Не дай бог, если деньги Лазурька завтра потребует.

Пошел Игнат, но сходил напрасно. Пискун уж достал было из-за божницы узелок с деньгами, уже начал было отсчитывать замусоленные бумажки, но вдруг прикрыл деньги ладонями.

– Постой... ты для кого денег просишь?

– Для себя...

– Э-э, Игнаша, брось маленьких обманывать! – Пискун погрозил пальцем. – Если бы перед севом просил... Сейчас тебе деньги ни к чему. Так я рассудил? Так. Опять же из окошка видел: шел ты вместе с Еремой. А он в долгах как в шелках. Самому уж и глаза стыдно показывать, подбил тебя. Сознайся, для него просишь?

– Для него...

– Чуть было ты меня, старика, не облапошил. – Пискун, довольный, просиявший, сложил деньги, туго затянул узелок. – Никогда, Игнаша, не хлопочи за других. Пусть они сами за себя хлопочут.

– Какая тебе разница, Харитон Малафеевич. Вы мне даете деньги. А зачем их беру – мое дело.

– Не-е, у нас так не играют, – посмеивался Харитон. – Но уж если ты сильно за него просишь – дам, пусть идет. Только ради тебя.

О собрании Пискун, видать, еще ничего не знал. А то бы не был таким веселым и обязательно привязался бы с расспросами. Игнат поспешил уйти. Ерема, едва он переступил порог, встретил его вопросом:

– Ну как, принес?

Выслушав Игната, сник, пробормотал:

– Пропал я... Видно, уж так на роду написано.

– Да почему пропал? Дает же, что еще?

– Как не дать – даст. – Он глянул на Игната с подозрением. – Ты заодно с ним? Сговорился? А я, дурак, перед тобой травкой расстился.

– О чем ты? Я не понимаю...

– Ты все понимаешь! Все! – Ерема вышел, громко хлопнув дверью.

Но Игнат и в самом деле ничего не понимал. Только на сердце у него стало нехорошо и тревожно. В чем-то промахнулся, не сделал для человека того, что мог, должно быть, сделать.

На другой день вечером зашел к Лазурьке, спросил, вернул ли Ерема деньги. Оказалось, что вернул все до копеечки. Стало быть, сходил все же к Харитону. Это Игната успокоило.

А с Настей ему поговорить так и не удалось.

## XI

Не богата красками степь Забайкалья. Зимой все вокруг бело, пусто, только в ветренный день дымятся снежные заструги. Ранней весной, когда земля еще не успела вобрать в себя тепло, и поздним летом, когда солнце высушило ее до каменного звона, она уныло однообразна, серая от края до края. И сопки тоже серые, как вороха пепла. Но на грани весны и лета, перед наступлением иссушающей жары, вся она сизо-голубая, вся плещется, играет переливами, вся обрызгана белыми каплями ромашек. Под пахучим ветром покачиваются тронутые сединой метелки дэрисуна, на курганчиках у своих нор перекликаются тарбаганы, в глухих логах на солнышке балуются огненные лисята. А воздух такой чистый, такой прозрачный, что, не напрягая зрения, можно разглядеть камни на дальней сопке и степного орла на камнях, рвущего убитого суслика. Но не привлекает орел взгляда Корнюхи. Не слышит он и свиста тарбаганов, не чувствует терпкого аромата трав. Сидит на бугре неподвижно дремлющей птицей, лишь изредка бросит взгляд на коров, щиплющих траву в ложине. Отсюда ему хорошо видно поле, лоскутом зеленого сукна разостланное на голубом увале. Его поле. Его надежда. Его защита от нужды.

И это поле у него хотят отобрать. Поначалу-то все было ладно. На заимку никто не заглядывал и не требовал, чтобы он убрался с чужой земли. С коммуной у бурят, видать, дело не пошло. Корнюха уже думал, что зря тогда поднял тревогу, заставил Пискуна добывать бумажку, но на днях вдруг заявился тот, что весной с Лазурькой был, Ринчин Доржиевич. «Сайн байна! – по-своему поздоровался он и, не слезая с коня, покачал головой: – Э-э, паря, зачем так долго тут живешь? Говорил тебе твой Лазурька-председатель: уходи. Зачем не ушел?» Сунул ему Корнюха под нос бумагу, а бурят читать не умеет, повертел ее в руках, со вздохом вернул. «Не толмачишь? – спросил Корнюха. – Аренда. Понимаешь? До конца года земля моя, за нее деньги уплачены. Понимаешь?» Бурят не понимал. «Кому плачены? Пошто плачены?» – «А это ты у своего председателя спроси, у Дамдина Бороева спроси. Дамдинка у вас председатель?» Кислым стало лицо у Ринчина Доржиевича, реденькие усики под широким носом обвисли. «Фу, хара шутхур<sup>2</sup> Дамдинка!.. – заругался он. – Не брехал мне ты, что так в бумаге писано?» – «Стану я брехать!»

Поехал бурят, что-то бормоча по-своему, потом вернулся, попросил бумагу. «Ишь ты, хитрый какой! – сказал ему Корнюха. – Вы уж там сами меж собой разбирайтесь, а я этой бумажкой от всех вас, как заплотом, отгорожусь».

Но на этом дело не кончилось. Неделю спустя нагрянули на заимку милиционер, Лазурька и с ними все тот же Ринчин Доржиевич. Милиционер забрал бумажку, написал акт, велел Корнюхе расписаться. Тот расписываться отказался, сидел в углу зимовья, сцепив на колене руки, злой до невозможности. «Ну вот, достукался? – сказал Лазурька. – Говорил тебе, так нет, все надо поперек делать...» – «Помолчи, пожалуйста, – процедил Корнюха. – Кого за горло берете? Кому жизнь портите?» – «Он еще сердится! – удивился Лазурька, – Кто тебе велел с Пискуном связываться? Аренда эта липовая. Дамдинка их под статью Харитону, первый живоглот в улусе. Согнали его с председателей. Теперь там Батоха Чимитцыренов председатель. Тот самый, который с нами был». Корнюха обрадовался было: Батоха – парень что надо, но тут же снова помрачнел. Что Батоха... Уж Лазурька ли не парень, а свою линию гнет и в сторону шагу ступить не хочет. А мог бы и подсобить...

---

<sup>2</sup> *Хара шутхур* – черный дьявол (бурят.).

Милиционер собрал со стола бумаги, сказал Корнюхе: «Вот что, друг... Хватит тебе десяти дней, чтобы убраться отсюда? Вы, Ринчин Доржиевич, через десять дней заимку займите. Коли что – все барахлишко во двор». – «Больно прыткий! А хлеб, мной посеянный, – им подарок?» – «Почему же... Все опишем, оценим и возместим стоимость по закону», – сказал милиционер.

Едва они уехали, Корнюха поскакал к Пискуну. На этот раз старик струсил, заохал: «Ох, беда, беда... Что творится на белом свете, что деется! Дамдинку спихнули. Был один понимающий человек во всем улусе, и тому крылья обрезают». – «Что ты о нем плачешь, о Дамдинке, пропади он пропадом! Тут хлеб отбирают, а он – Дамдинка...» – «Так без него я как без рук... Стань задираться, хуже будет. Отдам заимку, пусть подавятся!» – «Нет, ты не отдашь заимку! – Корнюха стукнул по столу кулаком. – Зря я гнул за плугом, зря обихаживал поле? Своими руками весь пырей, всю сурепку повыдергал!» – «Как хочешь, Корнюша, как хочешь, а я устраниюсь. Нельзя мне сейчас идти на них с рогатиной, затопчут. А ты держись, Корнюша, держись, с тобой они ничего не сделают». – «Умыл руки?» – «Не умыл, Корнюша, нельзя мне, не пришло время... Тебе-то что, ты партизан заслуженный... Стой на своем, и отступятся». – «Буду стоять, как же ты думал! Пусть кто сунется, горло перерву!»

Провожая Корнюху, Пискун шепотом спросил: «А может, тебе ружьецо дать? Всякое бывает...» – «Есть у тебя?» – «Завалилась где-то одна дудырга. Подожди...»

Пискун принес винтовку, завернутую в промасленную холстину, три обоймы патронов. «Только ты никому – ни гугу. Попадешься – я тебе не давал, ты у меня не брал».

Вчера был последний день срока, установленного милиционером, а буряты пока не тревожат. Может быть, опять что приключилось с их треклятой коммунией? Ишь чего захотели – коммуны. С неумытым-то рылом да в калашный ряд! Сидели бы себе по юртам, так нет, больше всех суется.

День близился к обеду, заметно пригрело, все реже, все неохотнее переключались тарбаганы. Коровы помахивали хвостами, одна за другой потянулись к роднику, без умолку хлопотавшему за зимовьем у края леса. Корнюха взял в зимовье чайник, разложил в тени сосен огонь. Коровы напьются и долго будут лежать. У него хватит времени обед сварить, отдохнуть. По-доброму-то надо бы сейчас довести до дела молоко, вся посуда им заполнена, все скисло. Как уехала Хавронья за своей Устей (сегодня четвертый день пошел), так он рук к молоку не прикладывал. Мало-мальски подоит коров, чтобы вымя не портилось, а творог, масло делать неохота. Хозяину будет убыток – ну да черт с ним, не разорится. Хавронью он не отпускал, но она, учував о том, что заимку могут отобрать, ни на шаг не отставала, кланчила: «Отпусти, отпусти, не становись погубителем нашей жизни». Он ее пробовал урезонить: «Зачем повезешь свою Устю, где жить будете, если отберут заимку?» Но баба она была, видать, неглупая, все обмозговала как следует. «Продадим дом, тут поселимся, Харитону волей-неволей придется нас где-то пристраивать. А не продадим, отправит обратно, и не быть уж тогда Усте за Агапкой, не видать такого жениха как своих ушей». – «Ну да, станет с вами Пискун валандаться, отберут заимку, не спросит даже, есть у вас дом или нету, в два счета выставит». – «А советская власть на что?» – сказала Хавронья.

Пусть делает как знает, ему-то что. Посулилась за два дня обернуться, но нет и нет ее. Чертова баба, будто не понимает, что одному тут со всеми делами ни за что не управиться.

На огне вскипел, забрякал крышкой чайник. Корнюха снял его, засыпал заварку, разложил на мешке хлеб, масло, редиску свежую. Вчера Настюха приходила, принесла гостинцев со своего огорода. Отцу, говорит, сказала, что пошла ночевать к подружке, а сама – сюда. Не поленилась десять верст пешком отмахать. Чудная девка!

Они лежали с ней на увале, на теплой земле, дышали воздухом, настоящим на степных травах, и не было в мире никого, кроме них двоих. Под утро Настя заснула у него на руке, а он слушал ее ровное спокойное дыхание, думал, что с такой бабой, как она, жить будет легко



и просто. Когда на востоке, из-за сопки, выплеснулся и растекся алый свет зари, Корнюха разбудил Настю и проводил без малого до самой деревни.

Пообедав, растянулся у огня, засыпая, думал: «Как бы хорошо жилось, будь у меня хоть четверть того, что имеет Пискун...»

Разбудила его Хавронья. Корнюха сел, протер глаза. Солнце уже перевалило за полдень, коровы лениво тянулись в степь, у зимовья на привязи стояла лошадь. Хавронья улыбалась, показывая ему свои коротенькие зубы.

– Замаюсь тут без меня?

Корнюха промолчал. Он растирал занемевшие руки, на них отпечатались травинки, рубцы были как шрамы.

– Привезла я дочку-то. Да ладно, что поехала. Она и не думала сюда перебираться. И дом продала с выгодой, сорок рублей дали...

– Где она, твоя дочка?

– А в зимовье. Убирается. Поглядел бы ты, как Агап Харитонович возрадовался. Крадучи мне кашемиру сунул. Сшей, говорит, Устинье сарафан, чтобы было в чем свадьбу справить.

– Ты про заимку у них не спрашивала?

– Как не спрашивала? Спрашивала. Да они сами ничего не знают. Оба беда как сердиты на Лазаря Изотыча. Ну, пойдем в избу, с дочкой тебя сведу.

Угрюмый со сна, лохматый, с сухими травинками в растрепанном чубе, вошел в зимовье Корнюха. Устя подметала пол. Она распрямилась, поздоровалась кивком головы и снова принялась за работу. А Корнюха сел на лавку, пятерней пригладил волосы, расстегнул ворот рубахи. Не ждал он, что Устя такая... Рослая, статная, тонкая в поясе, она и в линялом ситцевом сарафане казалась нарядной. Еще ни слова не сказала Устя, а Корнюха понял: гордая, знает себе цену. Она и пол подметала иначе, чем ее мать. Та быстро-быстро, суетливо машет веником, поднимая тучи пыли, а эта метет спокойно, размеренно. А какие волосы у нее – черные, тяжелые и так ровно, туго собраны в косы, что взблескивают на макушке и на висках, а возле ушей, наоборот, кудряшки, и в них, в кудряшках, сверкают большие дутые серьги. Да-а, у Агапки губа не дура, не даром он по ней страдает. А куда лезет, мозгляк, такой девке мужик нужен в полном соку, не замухрышка.

– Что, Устюха, с нами будешь робить? – спросил он.

– Еще не знаю. – Она подняла на него взгляд серых с прозеленью глаз, оглядела с ног до головы и со скукой отвернулась.

– А-а, не знаешь... Ну да, тебе же место хозяйки приготовлено, – кольнул ее Корнюха, задетый скупающим взглядом. Не рохля же он какой-нибудь, чтобы на него так смотреть. Или к своему суженому, Агапке-недоноску, приравнивает?

Хавронья все время была настороже, тут она сразу в разговор влезла, стала перед Корнюхой, загородила дочку своим сарафаном:

– Ты уж иди, погляди за коровами сегодня. А мы с Устюшей приберемся. Завтра я сама погоню. Пойдем, Корнюша, покажи, где что у тебя. – А сама рукой знаки подает: уходи, дескать, скорее. На дворе зашептала: – Не напоминай ты ей, ради бога, про Агапку, не тревожь ее душу. Без того она у ней растревожена. Дура же... Счастье само в руки прет, а она от него нос воротит... – Хавронья вдруг умолкла, приложила ладонь ко лбу. – Глянь, Корнюша, кажись, они, нехристи, едут.

Корнюха обернулся. К заимке на рысях приближались два всадника. Буряты. Впереди скакал Ринчин Доржиевич, за ним, приотстав немного, – молодой парень в военной гимнастерке. Подъехав, спешили, привязали коней к забору. Ринчин Доржиевич поздоровался с Корнюхой, как со старым знакомым, за руку, молодой бурят, помедлив, тоже подал руку, назвал себя:

– Жамбал Очиржапов.

– Садитесь. – Корнюха показал рукой на ступеньки крылечка, сам устроился на сосновом чурбаке.

Оба бурята сели. Ринчин Доржиевич развернул кисет, набил трубку, Жамбал свернул папироску.

– Курить будешь? – спросил Ринчин Доржиевич и протянул Корнюхе кисет. Корнюха тоже свернул папироску, прикурил от трубки.

– Семейскому как, курить можно? – Ринчин Доржиевич улыбнулся. Глаза его сузились в щелочки, от них к седеющим вискам протянулись лучики морщин.

– Теперь все можно... – Корнюха только с виду был спокоен, внутренне он весь подобрался, сжался в кулак. «Чего тянет, говорил бы сразу», – подумал он. Улыбка бурята, его добродушное лицо, мирный дымок папирос и трубки размягчили Корнюху. Он боялся, что, если и дальше так дело пойдет, не сможет дать им отпор.

– А наш Жамбал из армии пришел. – Ринчин Доржиевич показал трубкой на своего спутника. – Комсомол стал. Теперь в улусе пять комсомольцев.

Корнюха смял, бросил недокуренную папироску.

– Зачем приехали? Сказывай...

– Давно сказывал, – вздохнул Ринчин Доржиевич. – Хороший конь держит бег, хороший человек держит слово!

– Я вам слово не давал! Что вы ко мне привязались? Берите за воротник своего Дамдинку!

– Товарищ, товарищ, нельзя такой шум делать! – Жамбал нахмурился. – На чужой земле расположился и еще кричишь.

– Болё, болё!<sup>3</sup> – быстро сказал Ринчин Доржиевич. – Огонь не гасят маслом, обиду не успокаивают гневом.

– Вы успокаивать меня пришли? Хотите разорить, обождать, и чтобы я был радостным? Убирайтесь отседова обои! И не показывайтесь мне на глаза!

– Но-но... – В глазах Жамбала вспыхнули желтые огоньки, он вскочил, сделал шаг к Корнюхе. – Тебя кулаки сторожевой собакой сделали!

Какая-то злая сила подбросила Корнюху, швырнула навстречу молодому буряту. Сгреб его за ворот гимнастерки, подтянул к себе, прохрипел:

– Убью!

Ринчин Доржиевич разнял их, потащил Жамбала за руку к лошадям. Жамбал упирался, кричал:

– Тюрьму пойдешь! Сидеть будешь!

Корнюха метнулся в зимовье, сорвал со стены винтовку и прямо из дверей дважды выстрелил поверх голов бурят. Испуганно забились на привязи кони, за спиной взвыла Хавронья. Ринчин Доржиевич легко взлетел в седло, подскакал к крыльцу и, бесстрашно глядя на Корнюху, покачал головой:

– Ай-ай, зачем такой плохой дело! – И ускакал.

Бросив на кровать винтовку, Корнюха сел на порог, стиснул виски. Что наделал, дурья голова, что наделал! Теперь и впрямь тюрьма. Не поглядят на заслуги партизанские, спрячут за железную решетку, а все, что он оберегал, Пискуну достанется. Не для того ли он, старая мокрица, винтовку подсунул?

А Хавронья все ахала, охала, наговаривала:

– Нас подводишь... Непричастных, безвинных к ответу поволокут.

– Не ной, старуха! Кому ты нужна? Иди смотри, чтобы коровы в хлев не залезли. Я поеду...

---

<sup>3</sup> Болё – хватит (бурят.).

Он еще не знал, куда ехать. К Пискуну? Какая от него польза! К Батошке Чимитцыренову? К Лазурьке? Оба одного поля ягода: что им дружба старая, раз в начальство выбрались. Свой ты или чужой, для них все равно, будут мылить загривок: нельзя иначе, могут скинуть с председательства, как скинули буряты своего Дамдинку, а тайшихинские мужики – Ерему Кузнецова. Эх, нет поблизости Максюхи, уж он бы что-нибудь присоветовал... К нему поехать?..

Корнюха вытянул из-под лавки седло.

– Надолго ты? – спросила Устя.

– Тебе-то что, не все равно?

– Мне-то все равно, а тебе... Уедешь, они вернутся.

Да, об этом он не подумал. Возвернутся, что с ними сделают бабы. Сгонят их с места...

– Ах ты, черт! – Корнюха положил седло на месте. – Не привязан, а визжи.

– Оставь мне винтовку. Не подпущу, – сказала Устя.

Корнюха подумал: смеется, но нет, она не смеялась. Ух, какие глаза у нее! Такая будет стрелять, не побоится. Вот так девка!

– А ты умеешь ли стрелять-то?

– Спытай... – Она взяла винтовку, клацнула затвором.

– Не трогай! – сердито сказал Корнюха. Нельзя ей оставлять винтовку: мало одной беды, другая будет.

– Что, боишься? Не бойся, меня батя обучал, а он первым стрелком в деревне был. Поезжай...

– Не поеду до ночи. Уж ночью-то они сюда не заявятся.

– А ты буйный, – с одобрением сказала Устя. – Батька мой таким был.

– Тут станешь буйным...

Под вечер на заимку приехал Агапка. Он ничего еще не знал. И хоть бы спросил, как тут дела, что нового, – нет, слез с коня – и к Усте. Остренькое лицо, умильное, из кармана свисает конец винтарин<sup>4</sup>, – видно, подарок приготовил. А Устя, как при первой встрече с Корнюхой, со скукой отвернулась от Агапки, лицо ее стало гордое, недоступное. Агапка цепко, по-хозяйски ухватил ее за руку:

– Пойдем, поговорить надо...

– Постой! – Корнюха еле сдерживал гнев. – Шмару свою потом в кусты потащишь.

Жар прихлынул к щекам Усти. Оттолкнув Агапку, она ушла в зимовье и заперла за собой дверь.

– Что тебе? – Агапка побледнел, кулачки свои стиснул.

Корнюха со злорадством подумал: «Ишь ты, ошетинился, как кобель, у которого из зубов кость вырвали».

– Вы со своим батей что думаете, нет? Сегодня чуть было не выселили. До стрельбы дело дошло. Не сегодня завтра вытурят отсюда. Ну, чего помалкиваешь? Это тебе не с Устей обниматься...

Так ничего и не сказав, Агапка сел на коня.

– Ты куда?

– Поеду скажу мужикам, что буряты наших убивают. Подниму своих. Намнут бурятам бока, отдадут на чужое добро зариться.

– И первым попадешь в кутузку.

– Не такой я дурак, чтобы попасть. Уськну – и нет меня, мужики сделают сами.

«Ах ты, змееныш лукавый!» – изумился Корнюха, показал Агапке кулак:

– Это видел? Я те подниму мужиков!

---

<sup>4</sup> *Винтарин* – янтарное ожерелье.

– Не твоего ума дело! Знай сверчок свой шесток! – Агапка подобрал поводья, подбоченился, посмотрел в окно. И Корнюха, не оглядываясь, понял, что из зимовья за ними наблюдает Устя, а этот хореk еще нарочно на него покрикивает, силу свою кажет. Взбешенный, рванулся к Агапке, сдернул его с коня, приподнял и толкнул на кучу навоза. Агапка поднялся, отряхнул штаны, прерывистым голосом проговорил:

– Ну, погоди... Корнейка... я тебе... этого не забуду!

– Вот и ладно, помни! А вздумаешь мужиков баламутить, я тебя в дерьмо головой!..

Агапка ускакал. Собрался ехать и Корнюха. Зашел в зимовье – Устя смеется.

– Плакать надо: он твой жених!

– Под голову класть такого жениха, чтоб лихорадка не пристала!

– Куда его собираешься класть, мне это неинтересно.

Прискакав в деревню, Корнюха направился прямо в сельсовет. Лазурька был там. Вместе со Стишкой Клохтуном они сидели за столом, что-то писали. Без оcoличностей, как было, рассказал им все Корнюха, только про Агапку словом не обмолвился, знал, забоится мужиков подбивать на драку с бурятами, а так что о нем говорить.

Концом обкусанной ручки Лазурька поскреб макушку.

– Натворил делов! Понял теперь, к чему тебя привела твоя глупость?

– Не глупость у него, не-ет, – поправил Лазурьку Стишка Клохтун. – Под правый уклон покатился. Под кулацкую дудочку плясать стал.

– Обожди ты... – отмахнулся от него Лазурька.

– Тут, Лазарь Изотыч, ждать нечего. Тут политикой и державным шовинизмом пахнет.

– Не мешай, Стиха, разговору непонятными словами, – попросил Корнюха. – Кулаков ко мне не присобачивай. Так судить – всякий, кто в работниках, пособником кулаков будет.

Лазурька собрал бумаги, глянул в окно.

– Поздно... Но ничего, поедem к Бато. Без него говорить об этом – воду в ступе толочь. – А когда вышли на улицу, он вдруг с яростью накинулся на Корнюху: – Ты знаешь, кто ты есть? Дерьмо коровье, больше ничего!

– Но-но, Лазарь...

– Хэ! Еще нокает! Хоть чуточку башка твоя варит? Все, кто против нас, спят и видят, когда мы с бурятами передеремся. Тогда нетрудно будет на нашу шею удавку надеть. Доходит до тебя? Опять и другое. Буряты коммуны свою с большим трудом сколотили, а ты бревном поперек дороги. За одно это я бы не знаю, что с тобой сделал!

Не стал спорить Корнюха, начини ему перечить, еще хуже гайки затянет, сказал только со смирением:

– Не понимаешь, что вся надежда на это поле, отберете, как жить буду? Нищета мне надоела.

– Это-то я понимаю. Но не так надо, Корнюха, из нужды вылезать.

В улус приехали в потемках. Остановились у деревянной островерхой юрты. Дверь отворилась, уронив на землю квадрат неяркого света. Согнувшись, из юрты шагнул к ним человек, взгляделся.

– Лазурька? Здорово, нухэр!<sup>5</sup> Эй, Дарима, гости есть, чай варить давай! – крикнул он в юрту. – А это кто?

– Корнюха. Сам виновник... – сказал Лазурька.

– А-а, ты, Корнюха! – Бато подал руку. – Давно тебя не видел, шибко давно. Шагай на светло, глядеть буду, какой стал.

Такая встреча смутила Корнюху. Он почему-то думал, что Батоха станет сердиться, не захочет признать в нем старого товарища.

---

<sup>5</sup> Нухэр – товарищ (бурят.).

В тесной юрте посредине горел огонь, дым тянуло в дыру, проделанную в крыше. У огня сидела на корточках и поправляла дрова девушка, лицо которой показалось Корнюхе знакомым.

Разостлав на полу белый войлок, Бато усадил Корнюху и Лазаря у почетной стены, сел сам, достал из кармана кисет.

– Ты немножко менялся, – приглядываясь к Корнюхе, сказал Бато, затем кивнул в сторону Лазурьки. – Он таким же остался.

– Постарел я, что ли? – спросил Корнюха.

– Не, молодой, но что-то немножко другой стал. Как живешь?

– Плохо живу, Батоха. – Корнюха решил сам рассказать о случившемся. Рассказывая, понял: Батоха уже все знает.

– Худо ты делал, Корнюха, – вздохнул Бато. – Твой хозяин, наш Дамдинка немножко жульничали.

– Они жульничали, а я должен расплачиваться...

– Вперед наука будет, – проговорил Лазурька. – Для него, Батоха, и в самом деле в том клочке хлеба вся жизнь.

– Другой сев нету?

– Игнат сеял, но что там – слезы сиротские, не хлеб. На пропитание едва хватит, – сказал Корнюха. – А у меня, хочешь верь, хочешь не верь, одна-разъединственная рубаха.

Девушка молча поставила посередь войлока столик на коротких ножках, подала масло, пресные лепешки и чашки с чаем. Сейчас Корнюха вспомнил, где видел ее. Это была та самая пастушка, с какой сидел тогда Федоска, Лучкин брат. Бато что-то сказал девушке, она ушла, и вскоре в юрту вошел Ринчин Доржиевич, следом за ним – Жамбал. Оба ничем не выдали своего удивления, хотя, конечно, должны были удивиться, увидев его здесь.

Бато что-то долго говорил им по-бурятски. Жамбал ему сначала возражал, но потом согласно кивнул головой.

– Ладно, сердиться не будем. Мы горячились, он горячился. Так ли, паря? – по-русски сказал Ринчин Доржиевич и притронулся рукой к Корнюхиному колену. Корнюха понял, что разговор был о нем, что дурацкую выходку его буряты простили.

– Не можете ли вы обойтись без заимки до осени, пока он хлеб свой уберет? – спросил Лазурька. – Если есть хоть маленькая возможность, дайте мужику урожай собрать.

– Можно бы обождать... Но мы хотели зимник там делать. Сарай строить, дом прибавлять. После уборки успевать не будем. Как делать? – спросил Бато у Ринчина Доржиевича и Жамбала. – Парню беда приносить тоже нельзя.

– Нельзя, – согласился Ринчин Доржиевич. – А зимник делать не успеем.

– Постойте, мужики, – сказал Лазурька. – А если, к примеру, мы вам поможем? Соберу мужиков десять – и два дня поработаем. Их, братьев, трое, я четвертый, Лучка, Тараска... да, человек десять насобираем.

– Тогда ничего, тогда живи, Корнюха, – заключил Бато и сразу повеселел.

Так разговор этот и кончился, потом пили чай и говорили уже о всякой всячине. Много интересного рассказал Жамбал о службе в армии, о том, чему там учат красноармейцев. Он был славный парень, этот Жамбал. Под конец Корнюха даже пригласил его в гости.

Когда возвращались домой, Лазурька спросил:

– Теперь-то ты понял, какого берега держаться?

– Кажись, понял.

– Дай-то бог... Простая наука, а нелегко нам дается.

## ХП

Пришло лето, сухое и жаркое. Поскучнела степь, выжженная солнцем; обмелела речка, и ленивая теплая вода еле двигалась в вязкой тине; прибрежные тальники увяли, тусклая зелень дышала зноем и затхлостью. Тихо, глухо, душно.

Все меньше нравилось Максе жить в степи, сонная тишина опостылела, все сильнее тянуло его в деревню, к людям. И когда Лучка, приехав на заимку, неловко улыбаясь и смущенно теребя кудрявую бородку, сказал, что тесть велел его рассчитать, потому что на заимке, мол, летом работы мало и на двоих – Федоску и Татьянку, – Максим даже обрадовался.

– Вот и ладно! – весело сказал он.

Солнце уже село. С гор потекли потоки свежего воздуха, горького от запаха трав, жара схлынула. Татьяна, босая, в старом распоясанном для прохлады сарафане, разжигала во дворе огонь, собираясь варить ужин. Она обернулась, с тревожным недоумением взглянула на Максю, и он сразу вспомнил, что где-то ходит-бродит живой, невредимый Стигнейка Сохатый, способный сотворить любую пакость, – вспомнил и хмуро спросил:

– Он что, твой дорогой тесть, боится поубытиться?

– Как будто не знаешь моего тестя! Надоело мне с ним лаяться. – Лучка сердито плюнул. – Но ты не думай... работу тебе в деревне подыскал.

– Подыскал? – Татьяна села у огня на корточки, обтянула колени сарафаном. – Ты обо всем подумал, братка, все по-умному решил. А спросил нас с Федосом, хотим ли мы на твоего тестя спину ломать? Уйдет Максим, нас тут не удержишь.

– Даже грибы стали на дыбы! – пошутил Лучка.

Но Татьяна шутку брата не приняла.

– Надо – сам тут живи. И так страху натерпелись...

Максим приложил палец к губам, укоризненно качнул головой, однако Татьяна, ничего не заметив, выпалила:

– Лишит Сохатый жизни – тогда спохватишься!

– Сохатый? Как так – Сохатый? – Лучка круто повернулся к Максе, в глазах – недоверие.

– Сохатый... – Макся, стыдясь за скрытность, хотя и вынужденную, яростно потер ребром ладони переносицу. – Был он у нас, Сохатый.

– Давно?

– Давненько.

– И ты помалкивал? Скрывал от меня? – Лучка горько усмехнулся. – Не ждал от тебя этого, Максюха. Не ждал.

Суковатой палкой Лучка разворошил огонь, пламя опало, и густые тени залегли в его глазницах, от этого лицо стал казаться изможденным, постаревшим.

– Нечего обижаться. Сам понимаешь, зверя на тропе сторожить надо молча.

– Понимаю, как не понимать, – тихо, хмуро думая о чем-то другом, сказал Лучка.

До ужина он сидел у огня молча, разгребал палкой угли, шевелил бровями и угрюмо смотрел себе под ноги. Макся тоже молчал, чувствуя себя виноватым перед ним. И когда, поужинав, они остались у огня вдвоем, сказал Лучке:

– О Сохатом смолчал зря. Каюсь. Но я просто не думал, что это тебе в обиду.

– Ты легко судишь – в обиду! Если хочешь знать, клубочек тут запутан такой, что и концов не найдешь. Намедни, к примеру, зазывает меня в гости Харитон Пискун. Ласковый, обходительный. Водки на столе – залейся. О жизни разговор ведем. Умен мужик, ох умен! Толкуывает мне: скоро новой власти крышка. Не прямо говорит, но все понятно.

– Уж не он ли свернет? – не удержался от усмешки Макся.

– А ты не посмеивайся. У них расчет есть. Знаешь, как в последнее время мужику стало тошно жить. Чуть подокрепло хозяйство – бух тебе твердое задание. Выполнил – разорился, не выполнил – суд. Что делать?

– Если ты власти нашей опора – не разорят и судить не будут. Но...

– Кабы так! – перебил Лучка. – А то ведь все по полочкам разложено, все определено без тебя. Сегодня ты бедняк, потому что хозяйство захудалое. Завтра займел на три овцы больше того, что было, – середняк. А если еще и коня, корову присоединил – кулак. Читаю недавно в газете вопросы и ответы. Спрашивает кто-то: «Куда отнести дочь кулака, если она вышла замуж за бедняка?» Ему дают такой ответ: «Раз мужик бедняк, и она беднячка». Еще вопрос: «Куда отнести беднячку, если она стала бабой кулака?» Ответ: «Мужик кулак, и она кулачка». Понял, как все тоненько распределено? А ты мне про опору твердишь. Суди по тем вопросам обо мне. Живу в доме кулака – кто я? Кулак. Получил это клеймо, и власть, за которую моей кровью плачено, старается заехать мне по сопатке, да так норовит заехать, чтобы кровью закашлялся. Как мне быть?

– К Харитону Пискуну припаряйся, – едко посоветовал Макся.

– Кто знает, может быть, и доведется. – Лучка поднял на Максю тоскующие глаза. – Между молотом и наковальней такие, как я, Максим. Подал заявление на раздел с тестем. А все равно на душе покоя нет.

От реки пахло теплой сыростью. Блин луны, обкусанный с одной стороны, тихо скользил над землей, и степь в неверном свете белела, как сплошной солончак. Макся подавил вздох, язвительно подумал о самом себе, как о постороннем: «Партийный!» Думалось, что в новой жизни всем будет просторно, каждый займет в ней место, им самим облюбванное. Почему же этого не получается? Почему Лучка, вместо того чтобы выращивать всякие диковинки, до которых большой охотник, ломает голову над тем, кто он есть – кулак или не кулак, с кем ему по дороге, с Пискуном или старыми друзьями? И почему так вышло, что старые друзья его вроде бы отшивают? Плохо это. Если и дальше так будет, все рассыплется, будто ком сухой глины под колесом, и каждый станет жить сам по себе, наедине глотая горечь неулаженности, как Лука, или будет, как Корнюха, из сил выбиваясь, рваться к достатку.

Утром, заседывая коня, Лучка сказал Максе:

– С тестем я договорюсь. Живи тут.

– Жить тут, пожалуй, не буду. Крепко мне подумать надо, Лука; Татьянку оставлять опасно, а так – что делать тут?

– Женился бы ты, а? – Лучка вскочил в седло, подобрал поводья, чуть помедлив, тронул лошадь, поскакал по пыльной степной дороге.

Макся стоял у плетня, ломал сухие прутья, задумчиво смотрел ему вслед. Пожалуй, самое лучшее – забрать Татьянку с собой, поселиться в отцовом домишке. Худо, что свадьбу справлять сейчас не время, да и не на что. Осудят его люди: до свадьбы в дом невесту привел и не дождался, когда старшие братья женятся. Ему-то это все равно, но что скажет Татьяна? Ни разу с ней по-хорошему, по-серьезному не говорил о будущей жизни.

Подозвав ее, Макся долго молчал, не зная, как, с чего подступиться к этому разговору, ничего не мог придумать и сказал первое, что в голову взбрело:

– Давай бросим к черту эту заимку! В деревне будем жить, в нашем доме.

– Почему это?

– Почему, почему... Неужели непонятно? Женюсь я на тебе.

Татьянка спрятала руки под передник, потупилась, ее щеки, уши огнем вспыхнули, сразу стало видно, что она совсем еще девчонка. Макся повеселел от ее смущения и робости.

– Ну так что, Таня?

– Как хочешь, – почти шепотом сказала она. – Я за тобой как нитка за иголкой...

На другой день рано утром Макся поехал в Тайшиху к Лазарю Изотычу. Солнце только что взошло. На сырой траве гроздьями висела светлая роса, от земли поднимался белый пар, неслышно сползал в лощины и пенился там, выплескивая прозрачные хлопья. На сопках пунцовела доцветающая степная сарана, пламенели прозрачные желтые маки, бронзой отсвечивали колючие ветки золотарника. Все краски были чистые, сочные, утренний воздух – свежее лесного родника. Максим ехал шагом, смотрел на сопки, обдумывал предстоящий разговор с председателем Совета.

Его он застал дома. Поставив ногу на ступеньку крыльца, Лазурька начищал юфтевые ичиги холщовой тряпкой.

– Стигнейка? – спросил он, едва ответив на приветствие Максима.

– Нет, давно не навещал.

– А я уже было подумал... Меня тоже давно не трогают. Запасные стекла лежат без пользы. – Лазурька шутил, но как-то рассеянно, привычно, так же привычно спросил о новостях.

– У совы, сидящей в дупле, сорока о новостях не спрашивает, – вздохнул Максим. – Как живется здесь?

– Ничего живется. Большое дело замыслили. Осенью, самое позднее весной, начнем колхоз сколачивать.

– Это хорошо. Это многим будет по душе, – сказал Максим. – А кое-кому – совсем наоборот.

– Что-то приутихли они, те, кому все наоборот. – Лазурька тщательно зачищал сажей, разведенной на молоке, рыжее пятно на голенище ичига. – Вижу, зеленые от злости, до горла ею налиты, а молчат.

– Не молчат они, Лазарь Изотыч, говорят где надо. Власти нашей конец предрекают.

– Все время предрекают – что с того?

– А если попробуют загнуть нам салазки?

– Это они могут, духу у них хватит. – Лазурька отставил ногу, хмуро осмотрел ичиг, кинул холстину. – Они, Максюха, все могут, народец еще тот!

– Чего им не пробовать, если сами помогаем.

– Как так? – Лазурька вскинул быстрые глаза на Максима.

– Очень просто. Людей, которые за нас, отшибаешь. Почему от Лучки отгородился?

– Тебе легко говорить. А тут голова кругом идет, – глухо сказал Лазурька. – Пойдем со мной в Совет. Вчера там до вторых петухов прели.

Лазурька вернулся в сени, снял с гвоздя тощую полевую сумку, накиннул ремень на плечо, быстро зашагал по улице. Небольшой, подбористый, ловкий, он твердо ставил ноги на мягкую от пыли дорогу, не оглядываясь на Максима. А Максим, еле поспевая за Лазурькой, удивлялся, почему он, всегда такой приветливый, острый и веселый в разговоре, сегодня говорит с плохо скрытой неохотой.

В Совете председателя уже ждали. Вокруг стола сидели трое: Стишка Клохтун, отошавший до того, что на согнутой спине из-под рубахи выступали острые бугорки позвонков; два незнакомых Максиму человека – один молодой, примерно Лазурькиных лет, мужчина с коротенькими усиками под тонким прямым носом, второй – крупный, бритоголовый, полногубый. В стороне от них, сложив локти на подоконнике, сонными глазами смотрел на улицу Абросим Кравцов.

Лазурька назвал незнакомому начальству Максима (о том, что это начальство, Максим догадался по тому, что бритоголовый сидел на председательском месте и при появлении Лазурьки не встал, не освободил стула).

– Вы, кажется, подали заявление в партию? – спросил бритоголовый и быстрым взглядом светлых маленьких глаз окинул Максима с ног до головы. За одну секунду он, должно



быть, успел разглядеть, какие на нем ичиги и оборки на ичигах, сколько пуговиц на рубашке. – Садитесь. Вы нам как раз нужны.

Толстыми, неловкими пальцами бритоголовый полистал какие-то бумаги, строгим голосом сказал:

– Сейчас, когда на повестку дня во всей полноте встал вопрос о коллективизации, борьба с кулачеством вступает в решающую фазу. Мы должны уничтожить, во-первых, экономическое, во-вторых, политическое влияние кулачества на крестьянские массы. Что это значит? Это, товарищи, значит, что всеми доступными для нас средствами мы должны ограничивать, подрывать хозяйственную мощь кулака, лишать его возможности разными подачками держать под своей властью бедняков и батраков. Кажется, все ясно. Но, видимо, не для всех. Вчера вы, Лазарь Изотыч, старались нас убедить, что, во-первых, все кулацкие хозяйства у вас учтены, во-вторых, что с кулачеством вы ведете непримиримую борьбу. Сомневаюсь, товарищи! – Бритоголовый горой навис над столом, светлые глаза его потемнели.

Лазурька, покусывая губы, смотрел в пол, накручивая на палец ремешок сумки.

– При помощи секретаря сельсовета товарища Белозерова, – бритоголовый кивнул на Стишку Клохтуна, – я ознакомился с описью кое-каких крепких хозяйств и теперь с полным основанием могу утверждать, что в списке кулаков нет и половины тех людей, кому надлежало в нем быть.

– Каких людей вы нашли? – спросил Лазурька.

– А вот. Викул Абрамович Иванов. Слышали о таком? Знаете, сколько у него рабочих лошадей?

– Слышал, знаю! – дерзко сказал Лазурька. – Но я знаю и другое – лошадь лошади рознь. Викула хвастун и дурак. Набрал почти задарма дохлых одров, чтобы с самим Пискуном сравняться. А когда пашет, то сам к сохе подпрягается. К тому же он никогда не нанимал работников, все, что нажито, – нажито своими руками.

– Вот как? А что вы скажете о Прохоре Семеновиче Овчинникове? Надеюсь, не станете утверждать, что и он не пользуется наемным трудом.

– Пользуется. Нанимал весной работника. И осенью будет нанимать. А что ему делать? Шесть ребят, мал мала меньше. Баба его, в аккурат перед вешной, двойней разрешилась. Тут уж плачь, да нанимай. Не там вы ищите, товарищ Петров, супротивников советской власти, не туда целитесь. Есть у нас кулаки без подделки. С ними и надо бороться. С ними и идет у нас война – и будет идти до полной победы.

– Война? Сомневаюсь! Вот у вас лежит заявление Луки Богомазова. Хочет заполучить раздельный акт. Кулацкие штучки такого пошиба нам известны. Делится одно большое хозяйство – получилось два средних. А что тесть Богомазова злостный эксплуататор, вам-то уж должно быть известно. – Петров перевел взгляд на Максима. – Вы у него батрачите?

– Да. Но нанимался я у Луки, то есть у товарища Богомазова. Податься мне было некуда. Толстые губы Петрова сложились в насмешливую улыбку.

– Товарищ Богомазов... Хорош товарищ! Пользуясь тем, что у вас безвыходное положение, он вроде бы облагодетельствовал вас. Он так же облагодетельствовал и своих единокровных – сестру и брата. Я все знаю, вы меня не проведете. И я знаю, что Богомазов был партизаном. И именно этим он и ценен для своего тестя-кулака. Прикрываясь прошлым своего зятя, он выжимает соки из бедноты. А сам Богомазов, потеряв совесть, вербует для него даровую рабочую силу. Но что делает Совет? Разоблачает он перерожденцев, подобных Луке Богомазову? Нет. Мешает его тестю пользоваться дешевым трудом бедняков? Нет. Что же это происходит, дорогие товарищи?

Гневная речь Петрова ошеломила Максима. Ему стало жарко. Облизывая сухие губы, он смотрел на Петрова, на его безмолвного товарища, на Стишку Клохтуна, согласно кивающего головой, на Абросима Кравцова, прикрывавшего глаза запухшими веками, на мрачного

Лазурьку, и разговор этот ему начинал казаться диким, невероятным, возможным только в дурном сне.

– Лучка – пособник кулаков? – спросил он. – Да вы что, бог с вами? Ему помочь надо, а вы говорите «пособник». Он сейчас навряд колоса, выросшего на обочине. Откуда бы ветром ни потянуло, его к земле приклоняет. Недолго так простоит, надломится. А если такой подход будет к нему, врагом станет.

– Обождите, товарищ... – мягко остановил Максима Петров. – Политическая незрелость для вас простительна. Вы молоды. Но и вам я должен сказать, чтобы вы навсегда запомнили: кем станет для советской власти Богомазов – врагом или другом – его дело. Наша власть достаточно сильна, чтобы не кланяться кому бы то ни было.

Слушая его, Лазурька мрачнел все больше и, когда Петров замолчал, сердито сказал:

– Вроде как считаете, что я сижу сложа руки? Если так, выбирайте другого председателя. На черта мне сдалась такая музыка!

– А это как скажет партия! – властно отрезал Петров. – До тех пор, пока вас не сняли, будьте добры беспрекословно выполнять ее волю. Я сейчас уезжаю. Здесь останется товарищ Рымарев. Он будет жить столько времени, сколько понадобится, чтобы навести полный порядок.

Рымарев поднял голову, посмотрел на Лазурьку, ободряюще улыбнулся. После того как Петров уехал, он с упреком сказал:

– И чего ты кипятишься, председатель! Ведь начальство, на то оно и начальство, чтобы давать взбучку нашему брату. Увидишь, как хорошо мы будем работать.

– Взбучку дал за дело, – поправил его Стишка. – Много мы миндальничаем. Железным лемехом надо выпаживать всякую сорную траву.

– Дай лемех дураку, он тебе выпадет! – угрюмо сказал Лазурька. – А ты, секретарь, когда даешь сведения начальству, разъясняй все как есть, не измысливай. Нашел тоже мне кулаков!

– Да, нашел! – взвился Стишка. – Пусть они еще не полным образом кулаки, но к этому приближаются. Дорвутся до вольных хлебов, отъедятся, потом их не сковырнешь так легко. Это же проклятая семейщина! Ее, подлую, взнузданную, на поводу надо держать и ремнем драть, тогда, может, пойдем к социализму.

Возвращались из сельсовета Максим и Лазурька молча. Максим жалел, что поторопился с заявлением в партию. Очень уж многое ему в этих делах непонятно. Раньше казалось: все яснее ясного, а после этого разговора в голове какая-то мешанина. Конечно, и заведующий райземотделом Петров, и Стиха Клохтун сильно уж круто воротят, но, может быть, так и нужно. А вот Лучку они зря к тестю пристегивают.

Словно угадав, о чем думает Максим, Лазурька сказал:

– Видишь, как мне достается. Хорошо еще, что этот Петров не больно большая шишка. Звона его не слушаю, зачنى слушать – мужикам житья не будет. А Стиха наш радехонек... Он не в шутку говорит про узду и ремень для семейщины. Дай ему волю, по своей пастушеской привычке соберет народ в кучу и погонит, как стадо. Сам будет идти сбоку, бичом похлопывать.

– Но и Стиха, и товарищ Петров, как мы с тобой, хотят лучшей жизни народу, – пробовал возразить Максим.

Лазурька не дал ему говорить:

– Что за лучшая жизнь, если народ к ней надо бичом гнать? Разберется что к чему, сам пойдет. Мужик наш не дурак, все видит и оценивает своим умом. Петров спешит. Одним махом хочет своротить то, что века стояло. Оно и понятно. Раз взялись за такое дело, нельзя давать передыху ни себе, ни другим. Но... Начнем жать на мужика без разбору – оттолкнем к Пискуну. А тому действительно новая жизнь – удавка на шее. Ты мне про Лучку толковал. Не один он меж берегами плывет серединкой. Вижу это, но сил моих на все не хватает.

– Я хочу в деревню перебраться. Буду тебе, Лазарь, помогать чем смогу. – Максим рассказал о разговоре с Лучкой и о своем решении жениться.

– Правильно, давай скорее сюда, Максюха, – сказал Лазурька, но тут же спросил: – А Сохатый? Нет, брат, этого зверя нам поймать надо. Придет он к вам, не может не прийти. Так что живи до осени там, Максюха.

### ХІІІ

Когда на мельнице было не завозно, Петруха Труба промышлял выгонкой дегтя, смолы, драл драньё. Зарабатывал на этом так себе, малость: кому надо, сам этим делом занимался. Игнат сторговал у него для крыши сарая два воза дранья за бесценнок: за пуд пшеницы.

Собрав остатки зерна (набралось полтора куля), он поехал на мельницу. Пока зерно будет молотиться, вывезет дранье.

Утром в лесу держалась прохлада. Солнечные лучи застревали в верхушках деревьев, и внизу, к траве, к рыжим пятнам хвои, приникал сумрак. Пахло сосновой смолой, прелью, сырой землей. Мельница, обросшая мхом до крыши, стояла впритык к песчаному косогору, в пруду качались опрокинутые кусты тальника, ольхи и черемухи, у берега плескались, крикали утки. Мельница не работала, и вода из лотка тяжелым прозрачным пластом падала мимо колеса, вскипая, с шумом убегала в густую чашу. Избушка Петрухи стояла чуть в стороне, в невысоком, ровном, будто подстриженном сосняке, с трех сторон ее скобой охватывал забор, огораживающий грядки с луком, чесноком и капустой.

Навстречу Игнату с лаем выскочил лохматый пес, за ним, тоже лохматые, один другого меньше – ребятишки. Были они непричесанные, в тряпье, так что Игнат не сразу разобрался, которые из них парнишки, которые – девчонки. Подошел Петруха, отогнал и собаку, и ребятишек, пригласил в избу.

Епистимея, баба его, усадила Игната в передний угол, а слева, справа от него, втиснулись за стол ребятишки. На столе в большом чугуне стоял пареный капустный лист, еще зеленый, слегка приправленный мукой. Перед каждым лежала ложка и кусок черного хлеба. Игнату и мужику своему Епистимея положила хлеба побольше. Ребятишки молча смотрели на отца, не притрагиваясь к ложкам, но едва Петруха подцепил капустный лист, все они наперегонки полезли в чугунок. Ели ребятишки с такой жадностью, будто это было не постное безвкусное варено, а лапша с курятиной.

– Первый раз приехал к нам, а угостить тебя нечем, – вздыхала Епистимея, громыхая на шестке чугунами. – Летом, когда старый хлеб вышел, а новый еще не подошел, завсегда голодуем. В это время на мельницу почти никто не приезжает.

– Сами-то хлеб не сеете?

– А на чем пахать? Меня разве да ребятишек в соху запрягать...

– Это сейчас только плохо, – сказал Петруха, уплетая за обе щеки капусту. – Зимой живем хорошо.

– Молчи уж! Какой там хорошо! Зимой на всех ребят одни ичиги, по очереди на двор ходят.

Петрухе не нравились жалобы жены. Он перестал работать ложкой.

– Зимой жратвы всем хватает, а что в избе сидят, так это и к лучшему: не поморозятся.

– Молчи, пока сковородником спину не погладила! – привычно, без злобы одернула его жена. – Наградил меня бог муженьком... У другого бы, глядя на такую жизнь, вся середка сгнила, а моему дураку хоть бы хны!

Перебранка родителей была для ребятишек, видно, не в диковинку: не прислушиваясь к разговору, они миглом уничтожили хлеб, капусту и убежали в лес. Перестав ругаться с женой, Петруха скребанул ложкой по дну чугуна, удивился:

– Все сожрали? – и, удостовераясь, наклонил чугунок, заглянул в его черное нутро.

Тягостно было Игнату сидеть за этим убогим столом, кусок рассыпчатого хлеба застревал в горле. «Господи боже мой, за какие грехи такая кара людям? Куда бы ни шло, майся, голодуй один Петруха с бабой своей, но дети малые, безгрешные – за что наказываешь их, Господи?»

Потом у него целый день стояли перед глазами Петрухины ребятишки.

Нагрузив за избой воз дранья, он подвернул к мельнице. Петруха стоял у ларя, ссыпал в куль муку.

– Сейчас я принесу безмен, отвешаю свой пудик, – сказал он.

– Подожди, – остановил его Игнат. – Подожди, не ходи за безменом.

– Почему? До осени терпеть мне...

– Ты забирай целый куль, а мне и половины хватит. Один я живу, много ли надо...

Без того длинная шея Петрухи стала, должно, раза в два длиннее, глаза с припорошенными мукой ресницами закрывались и открывались.

Игнат легко поднял полкуля муки, бросил на воз и поехал.

– Пистимея, тудыт твою мать, печку затапливай, лепешки будем стряпать! – весело орал Петруха своей бабе, заглушая шум воды.

Понужая лошадь, Игнат бежал от этого крика, от этой мельницы, от голодной Петрухиной саранчи, перед которой, неизвестно почему, он чувствовал себя виноватым. Опять, как после похорон отца, душе его стало тесно и холодно. Тихо подъехала тоска и погнала мысли по уже знакомому руслу. Помнится, Ферапонт говорил ему, что, если человек творит угодные Богу дела, молится усердно, посты соблюдает, на его дух нисходит просветление, возвышается человек, и открывается ему красота истинная жизни земной. Но вот дети малолетние, не успевшие принять на душу и малого греха, видят ли они красоту жизни? Не до красоты им, если навсегда одно на уме: как бы поесть.

Дома, отпустив пасться лошадь, Игнат полез на сарай, начал сбрасывать сгнившую крышу. Солнце клонилось к закату. По склону Харун-горы к селу приближалось, поднимая тучи розовой пыли, стадо коров. По всей Тайшихе кланялись земле, скрипели журавли колодцев: бабы поливали огородину. Скрипнул журавль и в огороде Изота. Из-за зеленой стены гороха был виден пестрый платок. Настин платок. С двумя ведрами в руках, быстрой семенящей походкой Настя прошла между грядками, скрылась за глухим заплотом. Немного погодя она вернулась к колодцу... Игнат бросил на землю железную выдергу, прыгнул с сарая и направился в Изотов огород.

Настя была босиком, подол сарафана подогнут, крепкие полные икры – мокрые, к ним прилипли перья травы.

– Помоги поливать – огурцами угощу, – сказала она.

Игнат начерпал воды из колодца в бочку, взял у Насти ведро... Рядом с ней эта работа казалась игрой, забавой. Просто жаль было, что огород у них небольшой, и пора уходить к себе, в пустую избу. Настя раздвинула огуречную тину, усыпанную желтыми цветочками, сорвала пару огурцов, один подала ему, другой надкусила сама.

– Самый вкусный огурец – прямо с гряды. Полежит немного сорванный, запах теряет. – Огуречное семечко прилипло к ее подбородку, она его смахнула ладонью, спросила: – Ты почему все время пасмурный?

– А с чего мне яснеть? Живу медведем. Ты и то перестала приходить.

– Хочешь, нарву тебе гороху? Есть сахарный... – Настя повернулась к нему спиной, принялась щипать обеими руками стручки и кидать их в подол сарафана, будто ягоду брала. Игнат чувствовал, что не зря она его отводит в сторону, и, пугаясь, стал настойчиво допытываться:

– Скажи, Настюха, почему не приходишь? А? Может, я что не так сделал?

– Что ты, Игнат, от тебя, кроме добра, я ничего не видела.

А сама все рвет и рвет горох, не оборачивается.

– Значит, будешь приходить, как раньше? – Конечно, ему следовало бы сказать то, главное, но язык проклятый не поворачивался. – Ну хотя раза два в неделю приходи, Настюха.

– Не могу, Игнат.

– Что, некогда? Так я твою работу у вас буду кое-когда делать.

– Нет, не то... – Настя наконец повернулась к нему, но не глянула, не подняла лицо, склонив голову, перебирала стручки в подоле.

– А что же?

– Корнюха не велел...

– Корнюха? Как ты сказала – Корнюха?

– Ага, Корнюха.

– С какой стати он тебе приказывает?! Что ему за дело!

– Я его невеста, Игнат.

– Выдумщица! – засмеялся он, а сам почувствовал, как кривится лицо, дергаются щеки.

– Нет, правда. Давно хотела тебе сказать, но стыдно было.

Неуверенно, неловко, прямо по грядкам побрел он, вдавливая ногами перья лука в сырую землю. Настя подалась было к нему, но остановилась, испуганная, растерянная, а из подола под ноги сыпались тугие стручки гороха.

Дома Игнат остановился посередине двора, огляделся так, будто был здесь впервые. Над желтым драньем, сваленным беспорядочной кучей, навис черными ребрами стропил полураскрытый сарай, из двора, где раньше выкармливали кабанов, на заплоты лезла жирная зелень лебеды... И забор кряхтел от ветхости, каждый угол вопил о запустении. И это было все, что осталось у него в жизни.

Поправит он сарай, забор новый поставит, изживет из закоулков двора лебеду, но что потом будет? А ничего. Навсегда, на всю жизнь в душе останется запустелость, буйной лебедой будет в ней разрастаться, множиться горечь.

В избе Игнат долго сидел на пороге, упершись подбородком в согнутые колени, потом прилепил к божнице все, какие у него были свечи, зажег их.

– Господи, ты даровал мне душу и сердце, наградил умом и здоровьем, сохранил жизнь, когда другие ее лишались, – для чего, Господи? Не ропщу, милостивый, смиренно припадаю к стопам твоим, прошу: просветли ум мой, помоги понять мою вину перед тобой, Господи!

Чадили свечи-самоделки, под потолком висел синий войлок дыма. Желтые блики вздрагивали на лице Спасителя. Потемневшая голубизна глаз его была невыразительна, взгляд устремлен вверх головы Игната.

## XIV

– Устя, ты мне поможешь лес раскряжевать? – Корнюха, зажмурив один глаз, поправлял развод зубьев у пилы. Хавронья с дочкой только что подоила коров, разливала молоко по туюсам.

– Я сама тебе помогу. Пусть за коровами присматривает, – сказала она.

Корнюха усмехнулся. Хавронья, как курица, высидевшая одного цыпленка, ни на шаг не отпускает Устину, глаз с нее не сводит, того и гляди спрячет под подолом. Для зятя будущего, для Агапа Харитоныча, сберегает. Наверное, ночей не спит, кикимора, все размышляет, как она тещей въедет в богатый дом Пискуна, какой стряпней будет объедаться.

– Твоя помощь мне не нужна. Уж лучше один как-нибудь...

– Но почему же?

– О здоровье твоим забочусь. В лесу работа не прохладная, жалко тебя мучить. А Устюха молодая, ей ничего не сделается.

Знал, что сказать, Корнюха: смерть как любит Хавронья, чтобы к ней с почтением, с уважительностью подходили: размякнет вся, расплывется. А тут и это не подействовало. Но Устя сама все решила:

– Пойду с тобой, Корнюха. Ты же, мама, знаешь: не люблю пасти коров, сидишь на сопке целый день, как дурочка...

Бросив в мешок харчей на день, Корнюха положил пилу на плечо и нарочно, чтобы Хавронья лишнего не думала, скорым шагом впереди Усти пошел в лес. Девка едва за ним поспевала. В лесу убавил шаг, но Устю поджидать не стал, пусть плетется себе помаленьку, не мешает думать. Ей что – думать не о чем. А вот ему... Вскоре после примирения с бурятами у него в голове родилась мысль: надо еще до осени, до уборки урожая отделиться от братьев. Хлеб, им посеянный, вымахал по грудь, колос тугой, тяжелый и уж начал жаром наливаться. Урожай будет едва ли не самый лучший в деревне. И прямо душа болит, что придется делить его с Пискуном, с братьями. Справедливо ли это? Сколько перенес всего, сколько поту пролил и – на тебе! – раздавай направо-налево. А кто ему даст? Ему же надо сейчас ой-ой сколько. Ну, дом мужики помогут поставить, а на обзаведение, на животину, на сбрую – где что возьмешь? Обиды братьям в разделе нету. Все трое на одинаковом положении, и если у него прибыток получится больше, так это потому, что работал дай бог любому. И с Пискуном еще разговор особый будет, может, и не придется ему хлеб отсыпать. А раз такое дело, тем более надо с братьями разделить, пока урожай не ссыпали в один закром.

С этим он поехал к Максе. Младший послушал его, сказал:

– Что ж, братка, давай так... Я против не буду. Ты вовремя сдогадался. Когда в хозяйстве много всего – сельсовету морока, а тут что делить? Тряпка тебе, тряпка мне, тряпка Игнату. И все дела. Но мы и того проще можем сделать. Какая тряпка мне достается, клади в свою кучу. Тебе сейчас надо, а я обойдусь...

Не поглянулось все-таки Максе все это, и, как обычно, заехал он со стороны, слегка щелкнул по носу. Ну да ничего, главное, на дыбы не встал. Когда он согласен, нетрудно уломать и Игната. Тот, конечно, так легко на раздел не согласится, старину помянет, родителей, еще что-нибудь...

Но Игнат удивил Корнюху: слова поперек не сказал, вообще ничего не сказал, наклонил голову – согласен, мол. Был он какой-то чудной. Будто его недавно по голове поленом стукнули, сидит, глазами смотрит, а в память прийти окончательно не может. Немного совестно стало Корнюхе за то, что не спросил, не узнал, как живет брат, здоров ли, а сразу, с порога раздела затребовал. И даже не растолковал, почему раздел нужен.

– Братуха, ты не сердись на меня. Жениться хочу, свое гнездо заводить. Маленько, может, обгоню тебя, не по обычаю сделаю. А ведь что сейчас старые обычаи? Одни мы будем соблюдать – цены им не прибавится. Ты меня, Игнат, вместо бати нашего благослови на такое дело.

– Много говоришь, Корней, мне все понятно. Женись... А делить что нам? Селись тут пока, пусть твоим будет, что у нас есть. Максюха у места, а я куда-нибудь подамся.

Не захотел Корнюха пользоваться щедрой уступчивостью брата. Одно дело – неловко все заграбастывать, другое – пока по закону сельсоветом не разделено имущество, оно все будет как совместное. А мало ли что бывает? Сейчас Игнат такой, потом другим станет и свое обратно запросит. А хорошо бы дом готовый иметь, пусть даже такой немудрящий, как у них. Лес, который они сейчас с Устюхой кряжевать будут, пошел бы на амбар, на стайку теплую, на заплоты. Но что об этом думать, раз отказался. Некоторым везет. Вон Тараска... Один сын у отца. Сестер замуж растолкает и хозяином будет. Небольшое хозяйство, но все, до последнего гвоздика, его. Даже у Хавроньи с Устей – и то деньги на дом имеются.

– Эй, Устюха! – Корнюха остановился. – Шагай веселее.

Она далеко отстала. Шла неторопко, рвала цветы, втыкала их в волосы. Голова ее стала похожа на букет.

– Чего так раскрасилась? Все равно Агапки твоего поблизости нету, красотой любоваться некому.

– А ты не хочешь?

– Не до того мне. Вот кабы ты мне деньги, что за дом получили, займы дала, тогда бы я с утра до ночи на тебя глядел.

– Займы ничего не выйдет. Бери так.

– Как так?

– Насовсем, без отдачи. Ну и к деньгам в придачу – меня.

– У тебя же Агапка есть.

– Не пойду я за него, если ты посватаешься. Ты по мне, а того, Агапку, я каждый день бить буду, никакого житья не дам. Он от меня еще заплачется...

Говорила Устюха шутливо, посмеивалась, но Корнюха верил каждому ее слову. Да, Агапку она зажмет, он у нее пикнуть не посмеет, он у нее будет ходить по одной половине. А за него, Корнюху, она бы и вправду пошла без разговора. С того раза, как он на бурят с винтовкой кинулся, Устюха уже не глядит на него со скукой, поняла, какой он есть. Может, сравнивает со своим нареченным, и ей, наверное, еще виднее становится, что Агапка ее – ушкан ободранный.

Лес Корнюха навалил еще когда, больше ста лесин уронил и от сучьев очистил, а на бревна разрезать, ошкурить все не удавалось. Теперь, пока Устюха тут, лесины надо раскряжевать, вершинник на дровишки изрезать. Купят буряты дровишки. Коммуну надо же чем-то отапливать. Выторговать бы у них телочку или жеребенка... Будь у него домишко, и часть бревен продал бы – им вроде как помог, сам внакладе не остался.

С утра, пока в лесу держалась прохлада, работать было легко. Пила без усилий скользила в срезе, бросая под ноги желтую крошку опилок. Работа не мешала им разговаривать. Но о чем бы ни зашел разговор, Корнюха все время сводил его к Устюхиному замужеству. Уж и поиздевался же он над Агапкой, уж и потешил свою душеньку. Устюха смеялась вместе с ним, словно ее это нисколько не касалось. Но к обеду надоело перемывать Агапкины косточки, и жара поднялась. Стало душно, в застойном воздухе балалаечной струной вызывали одну и ту же песню пауты, они садились на спину, на шею, больно жалили. Устюха вся взмокла, кофтенка туго облегла ее круглые груди, прилипла к спине, цветочки в волосах завяли, и голова ее похожа была уже не на букет, а на кочку.

Устя, видно было, очень устала, но не сознавалась. А Корнюхе хотелось, чтобы она запросила отдыха, и он начал понемногу прижимать пилу. Однако ничего не добился, только сам себя измотал. «Ну и характерец!» – с уважением подумал о ней, сказал:

– Шабаш! Будем чай варить. Пусть жара немного схлынет...

По косогору спустились к небольшой речке, бегущей меж обомшелых елей и густых кустарников. Поставив кипятить чай, Корнюха спустился чуть ниже, отыскал в речке яму, вымытую у корневища старой березы, разделся, лег в воду. Ледяным холодом обожгла вода тело. Он закричал, повернулся с боку на бок. Через полчаса вернулся к огню, продрогший, спросил у нее:

– Почему не хочешь купаться?

– Кто сказал – не хочу? Тоже искупаюсь.

И верно, пошла к той же яме, скоро там забулькала вода. Корнюха не утерпел, раздвинул кусты. Устя купалась, подымая сверкающие брызги, на спине у нее пузырем подымалась белая рубашка. Она вышла на берег, склонив голову, отжала волосы, сверху вниз, от плеч к бедрам провела ладонями, сгоняя воду, рубашка прилипла к ее телу, стройному, крепкому и гибкому. Тут, на берегу, она особенно красива, прямо какая-то нездешняя, недеревенская. А Настя не стала бы купаться, но если и стала бы, визг подняла на весь лес...

После обеда работали не торопясь и, когда солнце повисло на острых вершинах сосен, отправились домой.

– Ну как, по душе тебе работа со мной? – спросил Корнюха.

– Да. А что?

– Будешь каждый день ходить?

– Буду.

– Мать заворчит.

– Пускай, что ей остается делать... На батю моего всю жизнь ворчала. У меня батя был удалой, дерзкий, нежадный. Завелись какие деньги – всех угощает, всем что-нибудь дарит. Последний его подарок мне – эти вот сережки.

Подойв коров, Устя долго сидела на ступеньках крыльца, тихо пела грустные песни семейщины. Голос ее сливался с посвистом ночных птиц:

Отец мой был природный пахарь, А я работал  
вместе с ним. На нас напали злые люди, Все погромили и сожгли.

Зевая, на крыльцо вышла Хавронья.

– Спать пора, – сказала она.

Устя ушла. Корнюха вдруг вспомнил: сегодня Настя ждет его возле речки в кустах. Сговорились встретиться... Но теперь уже поздно ехать. И что-то не хочется. Устал, видно... Потянулся до хруста в костях, пошел в зимовье. Засыпая, он думал не о Насе, а о том, что завтра снова надо идти в лес.

## XV

Для Максима и Татьянки две недели сенокоса были как праздник. На заимку приехал Лучка со своей Еленкой. Вставали чуть свет, наскоро завтракали и шли на покос. Высокая ветлюга с рыжеватыми верхушками гнулась под тяжестью росы, срезанная косой, ложилась в ровные высокие гряды. Первым начинал прокос Лучка. Сначала он коротко, как бы неуверенно, взмахивал косой, но постепенно свободнее становился размах, и вот уже, чуть сгибаясь, широко расставив ноги, он идет легко и играючи. За ним поспешает Еленка, потом – Татьяна. Заканчивает ряд Максим. Все четыре косы разом взлетают над травой, вспыхнув на солнце, разом опускаются. И шипящий звук сливается в один: вжик, вжик.

Когда солнце выпивало росу и трава становилась черствой, косьбу бросали, начинали сушить скошенное сено. Опять шли друг за другом, переворачивая граблями пахнущие диким медом ряды.

Обедали прямо на покосе, спрятавшись в тень от зарода. Еленка первые дни вроде все больше помалкивала. Но понемножку втянулась в общие разговоры и шутки, насмешки Максима стала сносить без обиды. Правда, Макся ее не очень задевал. Лучка предупредил его чуть ли не в первый день: «Потише с ней, тяжелая она». Лучка присматривал, чтобы она сильно не нажимала на работу. Первенец у них умер на третий день жизни, и он боялся, кабы опять не повторилось такое. А Еленка себя не берегла, работала наравне со всеми и, когда Лучка начинал ей что-нибудь говорить, отмахивалась, слушать не хотела. Но за все время, пока они жили на заимке, ни разу не ругались, не спорили. А до этого Лучка жаловался: не только с тестем и тещей, но и с Еленкой у него нелады.

В последний день работу закончили перед обедом. Лучка зарезал барана, наварили мяса целый котел. Сели за стол, Лучка мнетя, лениво ворочает в чашке куски баранины.

– Ты что не ешь? – спросил Макся.

– Такое мясо в такой день есть насухо просто грех.

– А где чего возьмешь?



– Может быть, и найдется, если я в своем мешке пороюсь. Но тебе, поди, нельзя, ты ведь теперь в партии. Тараска наемный баил: нельзя вам. Я говорит, потому только не записываюсь в партию. Не стерплю, говорит...

– Ты слушай Тараску, он тебе наскжет.

Лучка принес бутылку самогона, налил всем. Татьяна пить не хотела, но он ее заставил:

– Давай, сеструха, тяни, ты уж не маленькая. Когда еще придется так вот, за одним столом, дружно, беззаботливо посидеть.

Чокнулись кружками, выпили. Просидели за столом до позднего вечера.

– Мне отсюда уезжать неохота, – созналась Еленка. – Хорошо тут у вас. Наверно, первый раз за всю жизнь я на работе радовалась. Бывало, выйдем мы на косьбу, только и слышно, как батя ругается. То мать ему не угодила, то я что-то не так сделала... И все торопит, торопит.

– Давно тебе говорю: пока человеком жадность руководит, не видать ему радости, вечно будет недоволен, вечно будет сохнуть от зависти к другим. – Лучка потянулся к бутылке, налил остатки в два стакана. – Давай, Максюха, выпьем за то, чтобы пришла к нам жизнь без зависти, жадности, чтобы работалось всем с весельем на сердце.

Утром они уехали. Максим и Татьяна еще накопили, сметали зарод воев на десять – пятнадцать. Не для Трифона, для себя.

Перед началом страды приехал Корнюха, привез сельсоветский акт о разделе имущества, похвастался:

– Видишь, Максюха, я у вас ничего стоящего не взял. Изба осталась за вами и кобыленка, на совместные деньги купленная.

– Ты молодец у нас. – Макся, хмурясь, вывел свою фамилию под другими подписями, подал акт Корнюхе. – На... Желаю тебе всякого добра.

Корнюха спрятал бумагу в карман.

– Ты мне не поможешь хлеб в снопы связать?

– Танюша, собери что-нибудь поесть...

– Чаевать потом будем. Сначала надо договориться...

– Не договоримся мы. Если буду помогать, то Игнату.

– Что ему помогать! – фыркнул Корнюха. – Одному делать нечего с его урожаем. Помогни мне, Максюха.

– Тебе помогать – выгоды нет. Твое хозяйство – не наше.

Корнюха вроде как подрастерялся.

– Ну что ж... Ну ладно... Значит, не поможешь?... А я на тебя, Максюха, шибко надеялся... Али хочешь, чтобы платил я? Будешь подсоблять за плату?

– Корнюха, да у тебя никак слепота куриная? Ешь больше огородины, говорят, здорово помогает.

Братья стояли друг перед другом. Корнюха – плечистый, силой налитой, Максим – тонкий, сухопарый и ростом невысокий...

– Опять непонятное говоришь. Кончай ты с этой привычкой!

– Помаленьку все поймешь. Разом ничего не делается. Простой забор и то одним махом не поставишь. Поначалу колья вбивают, потом из таловых прутьев обвязку делают, потом...

– Пошел ты к черту со своей околесицей! – вскипел Корнюха. – Говори человеческим языком: поможешь?

– Уже сказал: нет.

Корнюха уехал сердитый, на заимке он больше не показывался. А когда, уже после уборки хлеба, Максим ездил обыденкой помогать бурятам перестраивать зимовье Пискуна, Корнюха с ним почти не разговаривал – видно, все обижался. Набиваться к нему с мировой Максим не стал. Пускай пыхтит... Кроме того, после разговора с Игнатом не до Корнюхиных обид стало. Старший что-то совсем сдал, замутил свой рассудок божественностью. Может, и другое что

сбило его с панталыку, но про то он ничего не говорил, как ни старался Макся выведать. Игнат велел ему поскорее выбираться в деревню. «Бери на себя наш дом, хозяйку заводи». – «А ты куда?» – «Я с Лазурькой вел разговоры о Петрухе Трубе... Совет дал им денег на коня, зимовье ихнее подладил. Словом, переезжает Петруха в деревню. Ребятишек ему учить надо. А я в лесу поселюсь. Буду жить помаленьку, Богу молиться. Тихо там, хорошо...» – «Да ты чего! Какая тебя муха укусила? Не сто лет тебе, чтобы одному-одинешенькому жить там». Игнат вздохнул: «Что сделаешь, братушка. Судьба у меня такая».

Больше ничего не добился у Игната Максим. С жалостью смотрел на его бородатое и печальное лицо. Подумал: уж не Корнюха ли со своим ненасытством и бесстыдством виной всему? Вслух сказал: «Морду набить ему надо. За богатством бежит, язык выпихнув. Еще сто верст до богатства, еще неизвестно, будет ли оно, а он уже локти растопыривает, отталкивает других, сам все заграбастать хочет. И кого отталкивает! Братьев единокровных, самых родных людей на земле!» – «Не тронь ты его, – попросил Игнат. – Каждый живет, как ему душа подсказывает. Помочь надо Корнюхе... Может, отдадим ему кобыленку-то, а?» – «Шиш ему под нос!..»

Про себя Максим решил: не отпустит он брата в лес. Конечно, для него, Максима, для Татьянки такой оборот самый лучший. Будут жить в родительской избе полными хозяевами, без стеснения. Но Игнат... Он заживо себя похоронит.

Быстро пролетела теплая желтая осень. С низовьев Тугнуя, с Цолгинских равнин все чаще задувал холодный ветер. Он свистел в прибрежных тальниках, срывал засохшие листья, гнул к земле оголенные ветви, а по степи, гладкой, как стол, серой, как казенная кошма, катились шары колючего конхула. Крыша зимовья гудела на разные голоса, скрипела и дребезжала.

Неуютной стала жизнь на заимке. Максим готовился к отъезду в деревню, приводил все в порядок, чтобы Тришка не мог обвинить его в нерадивости.

Под вечер немного стих, успокоился ветер и пошел первый снег. Снежинки, падая, косыми штрихами исчертили все вокруг – степь, сопки, тальники у ручья. Максим побежал встречать Федоску, помог ему загнать овец во двор, закрыл в сарае лошадь, бросив ей сена. Тем временем Татьяна натаскала в зимовье дров, разожгла очаг. Огонь в очаге, когда так вот гудит крыша и за окнами густеет мокрая белая темень, наполняет светом и теплом не только зимовье, но и душу. Все плохое, тревожное отдалается, забывается, думы становятся спокойными и радостными.

После ужина придвинули стол ближе к огню, Максим развернул старые, насквозь им прочитанные газеты. По ним он в свободное время учил грамоте Татьянку и Федоса.

– За-давим ку-ла-ка твер... твердым за-да-нием... – с натугой складывал Федоска из букв слова. – Вражде... бы... бы...

– Подожди... – Татьяна подняла голову от стола, вслушиваясь.

Максим тоже прислушался. Должно быть, ветер крепчал, в гудение крыши вплелось позванивание оконного стекла.

– Кажись, конь заржал, – сказала Татьяна.

– А-а, тебе вечно что-нибудь кажется! – недовольный, что его перебили, сказал Федоска и, спотыкаясь на каждом слоге, путая ударения, стал читать. А Татьяна все еще вертела головой, все еще прислушивалась. Вдруг она вскрикнула, прижалась к Максиму. Обернулся Максим и вздрогнул. Сквозь стекло из мрака на них смотрели немигающие глаза – выстуженные Стигнейкины глаза. Опрокинув скамейку, Максим бросился к двери. Опоздал! Дверь распахнулась, вместе с холодом, сыростью в зимовье вошел Стигнейка Сохатый, весь облепленный снегом. За спиной у него, стволом вниз, висела винтовка.

– Не успел заложиться? – Стигнейка снял папаху, ударил ею о колено, стряхивая снег. – Когда дверь заперта, я лезу в окно. От меня не заложись.

– И не думал залаживаться. – Максим смотрел через плечо Стигнейки на свою курмушку, висевшую у порога. В ней был револьвер.

– Сразу видно, что встречать меня бежишь.

– Такого гостя да не встретить! – А в голове: «Остался безоружный, губошлеп, попробуй теперь вытащи револьвер!»

Федоска закрыл ладонями заголовок только что читанной заметки. Ногой двинув к очагу табуретку, Стигнейка сел, поставил винтовку меж колен, протянул к огню красные руки. Немного обогрел их, шинель расстегнул. Под шинелью на боку висела желтая кобура и серебряный, работы бурятских мастеров нож. Он поправил кобуру. Кажется, для того только, чтобы они могли ее заметить.

– Почитываете? Грамотные стали?

Федоска еще плотнее прижал ладони к странице, будто боялся, что заметка вылетит из-под рук.

– Читай, чего примолк! И мне охота послушать советскую брехню.

Молчал Федоска. Скулы у него напряглись, – должно, зубы стиснул. Максим взял газету.

– У него еще слабо получается, не научился. Я сам почитаю. – Под столом, предупреждая, его ущипнула Татьяна, но он громко прочел: – Задавим кулака твердым заданием. Враждебные советской власти элементы всеми силами противятся хлебозаготовкам, срывают план...

– Нашел об чем читать! – скривился Стигнейка.

– Самое интересное выбрал.

– Дай! – Стигнейка выхватил газету, смял в ком, забросил в очаг. – Тут ее место! А ты, слышно, большевичком заделался? Партийным стал? Не я ли тебе говорил: всем партийным – смерть? Запоматывал? Теперь пеняй на себя. Застрелю! – Он стукнул прикладом винтовки об пол, потянулся к кобуре.

– Только попробуй! – Татьяна побледнела и, вскочив, сделала движение, будто хотела закрыть собой Максима.

– Ну-ну, тебе-то шуметь и вовсе нечего. – Стигнейка только двинул кобуру по поясу. – Сейчас убивать не стану, не за этим приехал. Но все равно он недолго будет большевичить. Скоро всех до единого прикончим. А сейчас я тут в гостях. Чай кипятит, Татьяна. Гостинцев городских тебе привез. – Из карманов он выгреб разноцветные леденцы, из-за пазухи вытащил шелковый платок, встряхнул им. – На, примерь.

Все еще бледная, страх позабывшая Татьяна брезгливо отстранилась.

– Содрал с кого?

– В магазине честь по чести куплен. Не дурак же я, чтобы невесте краденое дарить. Это советская власть своим прихлебателям дарит то, что у честных мужиков поотбирала. Ставь чай, погреюсь и поеду. Ты, Федос, поди коню дай сена.

– Я сам схожу. – Максим поднялся из-за стола.

– Нет, ты сиди. Еще простудишься. – Сохатый язвил почти благодушно, только в глазах его все время держался холод.

Максим ему не отвечал. «Пускай, – думал, – тешится, а там посмотрим. Во всяком разе так просто эта тварь поганая не уйдет отседова. Только вот револьвер взять...»

– Таня, поставь чай-то, – сказал он, – гость же... Да и непростой, жених твой.

Она посмотрела на него с удивлением. Но пошла разжигать самовар.

– Стигнейка, а это правда, что скоро всем большевикам крышка? – тихим, смиренным голосом спросил Максим.

– А ты как думал?

– Я, понимаешь, по-другому думал. Кабы знать, не полез в партию. В стороне бы стоял, выжидал. Тебе-то я, каюсь, не шибко верил. Большевики – сила, а у вас что? Ничего же нету, как тут поверишь?

– Сила у нас найдется, не тревожься.

– Какая же эта сила, откуда ей быть?

– Ума пытаешь? Узнаешь, когда тебя возьмут за жабры да поднимут на перекладину. С высоты разглядишь.

– Неужели со мной так сделают?

– Еще спрашивает! Кто велел к большевикам вписаться, кто просил стать пособником слуг антихристовых?

– Ты же сам говоришь, что советская власть для своих не жалеет... Думал, перепадет кое-что. Бедность же...

– Ха, бедность его заставила! Так и поверил тебе. На Бога надо уповать, а не к большевикам примазываться. Брата твоего за благочестие старики чтут, а ты спутался...

Татьянка поставила на стол помятый, выдавший виды самовар, хлеб нарезала. Сейчас Стигнейка жрать начнет. Пора! Макся встал, поежился зябко.

– Холодно как. Принести еще дровишек да натопить получше...

Главное, не торопиться, идти тихо, спокойно. Вот она, курмушка. Руку в карман.

– А ну вернись! Пусть Федоска идет за дровами! – гаркнул Сохатый.

Максим оглянулся. Настороженно, с подозрением смотрит Стигнейка, винтовка у него в руках, не глядя на нее, привычным движением предохранитель отводит. Татьяна поставила под кран самовара кружку и замерла, не видит, что кипяток через край льется. Подчиниться Сохатому? Подойдет, проверит, что в курмушке, и тогда...

Максимова рука крепко стиснула шершавую рукоятку, рванула, но револьвер зацепился за рваный карман и не отцепливается.

– Вот ты какой! Руки вверх, тудыт твою мать! – винтовочный ствол взлетел, качнулся и замер, оперев в Максима черный глаз.

Раздирая карман, Максим рванул револьвер, инстинктивно пригибая голову. Он не видел, как Татьяна выдернула из-под крана кружку, плеснула кипяток Стигнейке за шею. Звякнула, падая, винтовка. Стигнейка привскочил, рявкнул раненым медведем, замахал руками, будто отбиваясь от роя ос. Два прыжка – и Максим подхватил винтовку, вскидывая ее к плечу, попятился, отрезал путь к дверям. Но не успел взять Стигнейку на мушку. Тот пинком опрокинул стол, к Максимовым ногам с грохотом, извергая клубы пара, покатился самовар.

В зимовье сразу стало сумрачно, как в бане. Сохатый сбил с ног Татьянку, прыгнул к окну, выдавил плечом раму и вывалился из зимовья. Наугад, не целясь, Максим выстрелил ему вслед, подбежал к окну. Навстречу из снежной замети хлопнул револьверный выстрел, отодрав от косяка щепку. Максим, стреляя, отпрянул за простенок. В темноте застучали копыта. И все стихло. Ветер швырял в окно пригоршни снега, взлохмачивая пламя в очаге, развевал розовый шелк платка, повисшего на кромке стола.

Максим проверил запоры на дверях, завесил все окна. Никто из них не уснул в эту ночь. Сидели у потухшего очага, прислушиваясь к шорохам выюжной ночи. А на рассвете Максим поскакал к Лазурьке.

Ругнул его Лазурька:

– Какого маху дал, черт тебя дери! – Он помрачнел. – Что он в городе делал? Ни хрена теперь не узнаешь. Доведется снова охрану выставять по ночам. Ну и сызнова – ни слова о нем никому. А сам выезжай поскорее. Пришить могут.

– Работа у меня там есть еще. С полмесяца прожить придется.

– Смотри, Максюха... Хлебозаготовками мы допекли кулачье, добела раскалили, от любого прикуривать можно. Но вот беда, не одних кулаков... Не совсем ладно у нас делается. В одну кучу с кулаками валим и хозяев помельче. Лиферу Иванычу, Прохору Семенычу, Викулу Абрамычу – мужикам среднего достатка – твердое задание выписали. Плохо это, Максюха,

плохо. Многие мужики смотрят на меня теперь с опаской, понять не могут, к чему их ведет советская власть.

– Но как же ты?

– Что я! – махнул Лазурька рукой. – Стишка спарился с Рымаревым, жмут на меня, оба уж они шибко революционные. В РИК было сунулся, разъяснения запросил, а там меня посулили под суд отдать, если план провалим. Ты, говорят, кулацкую агентуру прикрываешь. Вот как... Достукался. – Лазурька помолчал, как-то странно подергал щекой, потер ее ладонью. – План, правда, мы не дотянули еще, но причем тут середняк? Кулацкие амбары потрошить я согласен, но тут руки опускаются. Давай, Максюха, поскорее становись со мной рядом. Стишка мне не помощник, совсем задуреет стал, жмет и ломит напропалую. Не дай бог, если дальше так дело двинется, откачнутся от нас мужики, одних оставят.

## XVI

Первый снег пролежал недолго. В тот же день поля, сопки сбросили с себя белые простыни, на дорогах зачернела жирно грязь. А вечер выдался тихий, ясный, морозный. Застыла грязь, затянулись лужицы коркой льда.

Под нагими кустами тальника на речке сидел Игнат и грел руки, засунув их в рукава полушубка. За сгорбленной спиной висела винтовка, не стал ее снимать: кого тут караулить? Перевелись воры и безобразники, не слышно, не видно. Но Лазурька что-то опять поднял мужиков, заставил сторожить все ходы-выходы из Тайшихи. Не следовало бы идти. Спорить было неохота. Лазурька привязливый, от него не отобьешься. Скорей бы на мельницу. Безлюдье там, покой. Будет он читать Святое Писание, вымаливать у Господа Бога прощения за пролитую на войне человеческую кровь. У Насти и Корнюхи ребятишки пойдут, на лето он возьмет их к себе, научит вертеть дудочки, слушать чирикание пичужек, отыскивать под хвоей грибы...

Сегодня Максюха опять отговаривал ехать на мельницу. Не понимает, добрая душа, что он теперь как залитый дождем огонь – куча углей и пепла, ни искры живой, ни тепла в нем нет. Не судил ему Господь быть счастливым, и он покорен его воле. Пусть пьют сладкий сок жизни другие, а он будет молить Всевышнего, чтобы не примешивалась к сладости горечь, чтобы не было таких, как он, и других, которые, хватив горечи, становятся злобными, неуживчивыми, глухими к чужим болям. За Максю, за Корнюху будет молить Бога, да простит он им безверье, поступки греховные. За Лазаря Изотыча помолится: не для себя, для людей радеет Лазарь, хотя и первый потатчик безбожья, пренебрежения к обычаям отцовщины. Кто, как не он, волокет из беспросветной нуждицы Петруху Трубу со всеми его грязными, голодными, холодными ребятишками? Стоило слово сказать – взялся за дело, не посмотрел, что у него, кроме заботы о Петрухиной ораве, есть чем заниматься. Но добросердечие и в нем соседствует со стужей душевной. Нет терпеливости, убеждающего слова к тем, кто раньше семейщиной правил. Ведь и они – люди. Они все понять могут, зачем же их гнуть в дугу, гвоздить оглоблей по голове. Дай опаматоваться, оглядеться, увидеть добро, которое несешь. Ан нет. Ферапонт для него – сеятель темноты, больше ничего. А то, что Ферапонт иному бедолаге, закрученному жизнью, словом Божиим помогает обрести душевное спокойствие, Лазурька не видит.

В сухой траве под кустами завозились мыши, с ветки упал, прошуршав, мерзлый лист. В деревне всхлипывала, будто от радости захлебываясь, гармошка, смеялись девки. И уже не гонят их родители в избу палкой, как обездомевших гусей, привыкли и к песням под окнами, и к свадьбам без уставщика привыкать начинают. Шибко ли плохо это, позднее видно будет... Но пусть уж лучше поют и смеются, никого не стыдась, прямо на улице, чем одиноко прячут горе в своих избах. Парни эти, девахи, что сейчас веселятся на холоде, каждый своего ждет от жизни, как и он ждал когда-то довольства и радостей. «Господи, прошу тебя, пусть у них все сбудется, отведи, Господи, от них все беды и напасти...»

Смолкла гармошка. Гасли огни в окнах. В темноте пощелкивала промерзшая земля. Игнат поднялся. Господи, что же это он сегодня?.. Не надо растравлять себя. Ни к чему. Хлеба не цветут дважды, сухая сосна не пускает ростков.

Нашупывая ногами тропку, он пошел к речке. Впереди что-то зашумело, брякнула расхлябанная подкова лошади. Игнат остановился, снял винтовку, вжался в куст. Прислушался – ни звука. Хотел было уже идти, когда в просвете меж кустами мелькнула чья-то тень. А скоро стали слышны и шаги человека – осторожные, тихие. Воровской шаг. Добрый человек идет – треск кустов на полверсты слышен. А шел он прямо на Игната. Господи, зачем тебя черт несет!

Он подпустил незнакомца вплотную, шагнул навстречу, упер ствол винтовки в грудь, тихо приказал:

– Не шевелись! Подыми руки!

Тот слабо вскрикнул, поднял руки, в правой при свете звезд тусклой чернотой блеснул револьвер.

– Повернись спиной! – так же тихо сказал Игнат, взял у него револьвер, снял ремень с ножом, обшарил карманы.

– Ты кто такой?

– Не видишь, что ли? Аль признавать не хочешь Стигнейку?

– По окнам палить идешь?

– Н-нет. Давно бросил это дело.

– А что тебе тут нужно?

– Попрошу денег взаймы и уйду. Ты отпусти меня. Не бери грех на душу. Убьют меня – ты будешь в смерти повинен, с тебя взыщет Господь.

– А с кого взыщет за тех, кому пули наготовил?

– Не веришь, что бросил пугать большевиков? Божьей Матерью клянусь! Давно уже. На мирное житье осел, а меня большевики на днях словили. Мучили, пытали... Сбежал я. Куда мне податься, если в кармане ни гроша, если три дня не жрамши и от большевицких издевательств вся шкура со спины слезла. Не веришь? Посмотри, посмотри. – Стигнейка сбросил шинелку, расстегнул и сдвинул с плеч рубаху. – Зажги спичку. На` вот...

Игнат чиркнул спичку, глянул на голую спину Стигнейки и тотчас же загасил. На шее, на спине кумачовой заплатой выделялась обваренная кожа, местами она отдулась водянистыми пузырями.

– Что это у тебя?

– Что?.. Кипяток лили... – Лязгая зубами, Стигнейка оделся, взмолился: – Отпусти ради Христа. Ты же веришь в Господа, неужели допустишь, чтобы жизнь, данную мне Богом, люди отняли? Ить не помилуют!

Игнат молчал. И молчание его, видно, приободрило Стигнейку.

– Мыслимо ли убивать человека, ежели он сам осознал свои заблуждения и днем и ночью замаливает прошлые грехи?

И верил и не верил ему Игнат. Больше верил, чем не верил. Все было за то, что Стигнейка говорит правду. Летом никто не стрелял по Лазурькиным окнам. Может, и осознал. А сдать – конец ему.

– Ладно, я отпущу тебя... – угрюмо сказал он.

– Спаси тебя Бог! В вечном долгу перед тобой...

– Не торопись... Сначала ты землей-кормилицей, хлебом, именем Всевышнего поклянись, что сегодня же уйдешь отсюда и никогда, нигде не подымеешь руку на человека.

– Клянусь землей-кормилицей, хлебом, именем Божьим, что нигде, никогда не подыму руку на человека, что сегодня же смотаюсь отсюда! – повторил Стигнейка и добавил: – Пусть я сдохну как бездомная собака, если нарушу свою клятву!

– Иди же, пока не передумал. Ты пешком?

– Нет, конь в кустах спрятан. Дозволь в деревню заскочить, в один дом... Больки перевяжут, хлебушка дадут...

– Иди...

– Тут больше никто не стоит? Не поймают?

– Нет. Иди.

– Верни мне наган и ножик.

– Иди, тебе говорят! – возвысил голос Игнат. Как не поймет, дурак, что еще может передумать... Поведет его к Лазурьке...

Стигнейка скользнул за кусты, без следа, без звука нырнул в темноту, будто и не было его тут.

Спустился Игнат к речке. Вода была черной, она казалась густой, как деготь. У берега, в осоке, тихо позванивали льдинки, шуршала шуга. Он широко размахнулся, бросил в реку сначала револьвер, потом пояс с ножом и кобурой. Вода дважды булькнула, и снова поплыло над нею шуршание с ТИХИМ звоном. Он вытер руки о полушубок, закинул винтовку за спину, медленно пошел обратно. В голове назойливой мухой жужжало: «Как же так?» В глаза надолго, видно, впечаталась красная Стигнейкина спина, белые пузыри ошпаренной кожи... Выходит, живут до сей поры изгальство и лютость, выходит, вновь руки палачей надругаются над телом человека. После этого лучше ли они Стигнейки? Да, большая вина на нем, заслужил он суда людского. Накажите. Но без изгальства и надругательства. Однако и тут подумать надо. Не есть ли самая большая кара для человека – раскаяние его, когда просветленная душа ужаснулась от содеянного и жаждет искупить вину в доброте и смирении? А разве же можно зло искоренить злом?

## XVII

Заимку Корнюха честь по чести сдал Ринчину Доржиевичу. Как и было договорено, помогли мужики зимовье подладить, прируб к нему сделать. Свой лес Корнюха бурятам продал. Ставить себе дом передумал. Пискун отсоветовал. «Живи, – говорит, – пока в моем зимовьишке, что на задах стоит, а потом, ежели все ловко выйдет у нас, подсоблю купить готовый дом со всеми пристройками». На Пискуна Корнюха не сильно надеялся, но к тому времени у него свои планы наметились. Первое время он поговаривал с Устюхой о ее деньгах в шутку, а потом, поразмыслив, шуточки отбросил. Чем хуже Настя Устюха? В работе ей не выдаст, бойкостью перешибет, красотой почище будет. С другой стороны подойти – что принесет Настя приданого? Пару лежалых сарафанов, подушку да потник. Многое наживать придется. А у Устюхи грошей на целый дом. И не глянется ему уже Настя, как прежде. На свидание к ней ездит совсем редко, да и то, чтобы шум не подняла раньше времени. Она, кажись, что-то учухала, частенько попрекает его, на ласки скупится. Не нужны ему, по правде, ее ласки сейчас, а все же хочется, чтобы до поры до времени все было вроде как по-старому. Рев подымет, Лазурька ввяжется, Максюха с Игнатом, и уж не отвертись от нее, оженят.

Незадолго перед отъездом с заимки Корнюха обо всем договорился с Устюхой. В зимовье они были одни, Хавронья что-то делала во дворе. Устя смотрелась в стеклышко окна и, запрокинув голову, расчесывала волосы. Незастегнутая кофтенка расползлась, обнажив округлую грудь. Корнюха протянул руку, как мяч, стиснул грудь в пальцах. Устюха тут же хлобыстнула его ладонью по шее, да так, что в глазах заискрилось.

– Вот попробуй еще разок! – спокойно сказала она.

– А ты не заголяйся!.. Еще раз попробовать не побоюсь.

– Тогда я о твою голову ухват обломаю.

– С чего строгая такая? Для этой сопли, для Агапки, себя бережешь?

– Хотя бы и для него. Ты же на мне не женишься?

- Почему?
- Да той самой сопли побоишься, батьки его.
- А ты пойдешь за меня?
- Пойду. Давно уже напрашиваюсь.
- Нет, я с тобой серьезно.
- И я серьезно. Ты же видишь, какая я радостная, когда жених приезжает.

Потом он ее еще спрашивал об этом же. Что-то не верилось. Может быть, потому не верилось, что Устюха, во всем его добрый товарищ и помощник, становилась недоступной, как только он пытался прикоснуться к ней. Не было в ней той податливости, что у Насти. А с виду – твоя бы была... И другое еще его заботило. Пискунов он не то чтобы побаивался, было сомнение: обхитрит ли их? Зерно с его поля Пискун к себе ссыпал. Куда, мол, тебе с ним деваться, вот продадим и получишь свою долю чистыми денежками. А когда стали со всей строгостью твердое задание взыскивать, заставил яму на гумне копать и по ночам, воровски, зерно в ней прятать. Тошно было Корнюхе от этого, материл Пискуна на чем свет стоит, а дело все-таки делал: придут, все выгребут, не станут разбираться, где чье зерно.

Но вышло, что без пользы яму рыл. По амбарам никто ходить не собирался. Не выполнял твердое задание – вызывают в суд. Там принудилровку припаяют и опишут, распродадут все добро. В соседнем селе таким манером трех мужиков дотла разорили. Прослышал про это Пискун, быстро рассчитался, сдал все, что с него требовали. Позднее грозил маленьким кулачком кому-то, ругался, обрызгивая слюной свою бородавку. Всяк бы на его месте не возрадовался. Больше половины урожая пришлось сдать. А тут еще с молотилкой не получилось, отбил Лазурька все доходы. Пискун из себя выходил. Куда девалась его умильность, велеречивость, старицкая степенность? Ходил вприпрыжку, будто ему в пятки пружины вставили, говорил отрывисто. По вечерам у него нередко собирались такие же, как он, и на все корки честили советскую власть, Лазурьку, Стишку Клохтуна. Корнюху к себе не допускали, разговоры ихние слышал краем уха. Слушал, злорадничая: «Так вам и надо, будете знать, как ездить на нашей шее. Теперь свою подставляйте, теперь мы на вас покатаемся!»

Однако понимал: одной веревочкой с Пискуном связан. Разорят Пискуна – пропадут и его, Корнюхины, труды, его надежды. Но пусть не разорят, пусть просто поругается с ними... Пискун может вместо обещанного кукиш показать, и ничего с ним не сделаешь. Нет ни бумаги, ни свидетелей – одно только слово его склизкое, ненадежное. А горячий ругани, видно, не минешь. Зреет ссора, как чирей. Агапка при встрече с ним от злобы ажно зубы щерит, так бы, кажись, и впился в Корнюхино горло. Унюхал синюшный недоносок, что невесту у него могут из-под носа утянуть, батьку со свадьбой торопит, каждый божий день об чем-то с Хавроньей шепчется. Харитон согласился взять Устюху в невестки, уж и зовет ее не иначе как «доченька». Хавронье, сватье будущей, ключи от казенки и погреба отдал. Она после этого важной стала, бычьим пузырем раздулась, не ходит – плавает, губы свои провяленные поджатыми держит, пасмурность на лицо напустила такую, что можно подумать: забот у нее – спать некогда. Со смеху сдохнуть можно, глядя на эту ошипанную курицу, вдруг возомнившую себя откормленной уткой. Но мало того что от важности едва не лопнет, зачала помаленьку власть забирать в свои корявые непромытые руки. На Устюху покрикивала по делу и без дела, потом и до него добралась, давай и ему свое недовольство казать. В каждую дырку лезла, баба проклятая, все видела. Придирками глупыми вывела его из себя. Однажды на заднем дворе, когда начала ворчать, чем-то недовольная, он сказал:

– Если ты, старая халда, будешь еще командировать, схвачу за сарафан и мотырну так, что через три забора, будто на ероплане, перелетишь! – И сказал с таким внушительным спокойствием, что она присела от страха и трусцой попятилась от него. После этого уже не командовала, но посматривала на него не лучше, чем Агапка: будь ее воля, немедленно согнала бы со двора.



И Пискун с недавних пор переменялся. Уже не толковал, как бывало, о своих хозяйственных соображениях, а только приказывал: сделай то, сделай это. Может, и он за Устюху боится, может, что другое на уме...

Решил Корнюха без мешканья получить с Пискуна заработанное, развязать себе руки и уж потом отшивать от Устюхи Агапку. Вечером пошел в дом хозяина. Сидит Харитон за убраным столом, накрытым белой скатертью, в новой рубахе, гладенький, причесанный, ведет с Хавроньей душевный разговор. На сухоньком личике – благодать.

«В добрый час пришел», – подумал Корнюха.

– Ну, Малафеич, посчитай, сколько я у тебя заработал.

– Что заторопился? – Как с вареной картофелины кожа, слезла с его лица благодать.

– Должен же я знать, что у меня имеется. Посчитай, Малафеич.

– А что считать, у меня давно твое посчитано. Хлебушко, в яме спрятанное, твое.

– Как так?

– Что, мало?

– Нет, не мало... – В том-то и дело, что зерна там было куда больше, чем рассчитывал Корнюха получить, и в первый момент опешил, ушам своим не поверил.

– Ежели не мало – бери.

Корнюха побежал на гумно, ломом отвалил мерзлый пласт дерна, выворотил доску – темно в яме, ничего не видно. Лег на живот, сунул руку – пусто. Что за чертовщина? Зерна, помнится, насыпал доверху. Неужели оно так здорово осело? Втиснулся в дыру, спустился вниз. Зерна в яме осталось меньше половины. Вот она, щедрость Пискуна! Тайком опустошил и – на, бери остатки. Ну и сволочня! Ну и поганка! Обожди же...

С ломом в руках вошел в дом, поставил лом у порога, приткнув к косяку.

– Ты что, старый хрыч, обжулить меня хочешь?

– Мало тебе?! – вроде бы удивился Пискун. – Самая божеская цена. Другой бы и этого не дал. За аренду плачу я, на моем коне работал, мои семена сеял. Твоего – одни руки. А за них у кого хочешь спроси, много не дадут.

– Ага-а... Вон что ты запел. А это видел? – Корнюха поднял лом. – Тресну один раз, и от тебя ничего, кроме вони, не останется.

Хавронья подалась от стола и боком-боком к порогу, а там – шась за двери, только сарафан, будто лисий хвост, мелькнул. Из-за перегородки, с кути, вылетел с поленом Агапка, но, увидев в руках Корнюхи лом, остановился.

– А-а, и ты тут? Иди поближе! Сокрушу к чертовой матери всю вашу родову! Кулачье, кровопивцы! – И ахнул ломом по столу. С хрустом проломились доски, фаянсовая тарелка разлетелась на белые брызги. Побелевший Пискун сжался в комочек, стал меньше воробья. Снова подняв лом, Корнюха повернулся к Агапке, но распахнулась дверь, в дом влетела Устюха и повисла у него на руках.

– Ты с ума сошел! Иди, иди... – Настойчиво, но в то же время как-то очень бережно она подтолкнула его к двери. А тут Агапка про полено вспомнил, кинулся на Корнюху, ловчась стукнуть его по голове.

– Прочь отсюда! – Устюхахватила из его рук полено, бросила к порогу.

Поддерживая, словно больного или пьяного, она увела Корнюху в зимовье, усадила на лавку.

– Ой-ой, Корнюха, и бешеный же ты! – И засмеялась, разлохматив его чуб.

Почти следом прибежал Харитон, выюном проскочил в чуть приоткрытую дверь, зачастил с ходу:

– Ты беспонятливый... Зерно – не вся плата. Денег еще дам. Так и думал.

– Думал ты!.. Знаю я тебя, обтрепанное помело. Но у меня навеки отвадишься хитрить.

– Да где же тут хитрость? Какая тут хитрость? Просто заминка у меня с деньгами.

– Не бреш! Куда они подевались? – Корнюха понял: выдавить надо все сейчас, пока он напуган, очухается – ускользнет, как налим. – Гони денежки, хватит тебе кочевряжиться!

– Нету, Корнюша, ей-богу, нету. Но я тебя не обманываю. Уж если тебе так приспичило, давай забьем завтра двух бычков, и поезжай с мясом в город. Выторгуешь...

– Опять что-нибудь замыслил?

– Нет, Корнюшенька, нет, родимый. С тобой я завсегда...

– Смотри! В случае чего я твое гнездо по бревнышку раскатаю!

Перед отъездом в город Корнюха выгреб из ямы зерно, перевез домой. Когда он сгружал с телеги мешки, во двор вошла Настя, стала у воза, придерживая у подбородка наспех накиннутый платок.

– Что тебе, Настюха?

– Поговорить надо...

– Видишь, некогда мне разговоры разговаривать. – Корнюха поставил мешок на попу, пригнулся, вскинул его на плечо. «Хоть бы ушла». Вернулся за другим мешком – Настя у телеги стоит все так же.

– Раньше у тебя было время на разговоры и на другое, – сказала она. – Ты уж скажи мне прямо...

– Что ты привязалась? Шагай отсюда, потом поговорим. – Корнюха взялся за другой мешок, но Настя не дала его поднять, придвинулась вплотную, сверкая глазами из-под платка, горячим шепотом заговорила:

– Ты думаешь, я не вижу, куда клонишь? Все вижу и понимаю. Не жалею свое девичество сгубленное, жизнь сломанную. Но ты... Что ты найдешь? Меня ты любил хоть маленько, а ее совсем не любишь. Нет сердца у тебя, Корнюха, вместо его – утюг чугунный. А я, дуреха, поверила тебе... – Из Настиных глаз выступили слезы, медленно поползли по щекам.

Корнюха закричал:

– Ну, ты... Еще выть тут зачи!

Хотел ее обнять, но Настя отступила, крикнула:

– Не прикасайся! Ненавижу тебя!.. Твои бесстыжие глаза, рожу твою поганую!

– Ты что, сбесилась?

– Еще не раз вспомнишь обо мне! – Она пошла, вытирая кулаком слезы. Что-то вдруг стронулось в Корнюхиной душе, жаром полыхнуло в лицо. Он бросился к воротам, но Настя уже переходила дорогу. Шла неровно, мелкими шагами, будто несла на плечах непосильную тяжесть.

– Настя!

Она не услышала. Скрежетнула, звякнула железом, закрываясь за ней, калитка... «Я потом к ней схожу». В душе помаленьку все стало на свое место. Он был даже рад теперь, что Настя все знает, не надо, по крайней мере, лицемерить перед ней и придумывать отговорки, чтобы не ходить на свидание.

А утром он выехал в город. Кони были добрые, телега на железном ходу легко катилась по схваченной морозом дороге.

## XVIII

Сама не в себе была Настя, нигде места найти не могла. Ходила, что-то делала, но без смысла, по привычке. Лицо ее было напряженно, взгляд, не задерживаясь ни на чем, скользил мимо.

– Что с тобой, сеструха? – спросил Лазурька. – Какая-то ты очумелая...

– Нет, ничего... Голова болит.

– Иди приляг, чего топчешься! – строго приказал брат.

А Настя пошла на гумно, зарылась с головой в сено и плакала, плакала... Сено пахло цветами, медом – летом ее крохотного счастья. Выплакав слезы, снегом остудила опухшие глаза. День клонился к вечеру. Чистый, неистоптанный снег искрился разноцветьем огоньков, в стылую ясность неба ровными, высоченными столбами подымались дымы, за селом, на склоне Харун-горы, обновляла лотки и санки ребятня. Все идет своим чередом, и ни одна живая душа не знает, до чего не мил ей белый свет.

– Настя! Куда ты, холера, подевалась! – старчески проскрипел во дворе отец.

– Иду... Чего тебе?

– В кадушке воды ни ковши. Ты что-то, Настюха, совсем у меня рассупонилась...

Настя прошла мимо, низко склонив голову, чтобы отец не видел заплаканного лица, взяла ведра, коромысло, побрела к колодцу. Зимой воду брали из общего колодца, вырытого на пустыре, к нему со всех сторон, как лучи, сбегались тропки. По одной из них с полными ведрами на коромысле шла Устя, лиходейка-разлучница. Ревнивым взглядом Настя сторожила каждое ее движение. Идет, бедрами покачивает, голова поднята высоко – гордая такая, свое-нравная, ведра не шелохнутся, будто примерзли. Настя перешла на ее тропу, заступила дорогу.

– Радуюсь? Довольнехонька?

Чуть шевельнула Устя черными бровями, остановилась, прямая, неприступная.

– Об чем говоришь?

– А ты не знаешь? Оно, конечно, лучше – не знать. Целуйтесь, милуйтесь... Стоит вам думать о какой-то там дуре-девке. Кто она, девка? Потаскушка! А потаскушкам ворота дегтем мажут, на них собак науськивают, ее в гости никто не принимает. Зачем о ней думать? Зачем думать о ребенке, о парнишке ее, которого прижила? Кто он такой? Выблюдок. Это всякий скажет. У тебя будут свои дети, не в крапиве найденные, тобой рожденные. Что с того, что мой ребенок будет братом твоим детям по отцу? Так ли уж это важно? У него даже и отчества не будет, люди станут величать его Настичем, не Корнеичем...

– Что ты врешь? – крикнула Устя, глаза ее стали зелеными-зелеными, коромысло закачалось, из ведер плеснулась вода. – Ты зачем наговариваешь на Корнюшку? Он тебя и знать не знает!

– Ты спроси у него, куда вечерами ездил с заимки, с кем до последних дней обнимался на гумнах. Ты спроси. Он тебе скажет. – Настя, позабыв, что ведра у нее пустые, быстро пошла от колодца.

– погоди! – Устя оставила коромысло, догнала ее. – Не уходи.

– Что тебе еще?

– Ты побожись, что все это правда.

– Господи, да разве ж я стану такое брехать? Отойди, без тебя тошно. Тошно! – Слезы душили Настю, и этим криком она гасила готовые вырваться рыдания, спотыкаясь, шла по улице, тоскливый скрип ведер вторил ее шагам – скрип, скрип, скрип. Сейчас ей было еще хуже, чем до разговора с Устей. Наизнанку вывернулась перед ней, унизила себя. поймет, что ли, она... Господи, кому же тогда поведать свое безмерное горе? Ведь так, в одиночку, задохнуться можно, с ума сойти.

У ворот своего дома она остановилась, оглядела пустынную улицу, два ряда домов, разделенных дорогой, пустые глазницы окон, черные стены заплотов, наглухо закрытые ворота. Кто поймет ее, выслушает, приободрит? Кому она нужна со своей бедой? Подружки лицемерно посочувствуют, а после шепотком понесут из избы в избу новость, будут судачить о ней, довольные, что они-то не такие, они честные, до замужества никого близко к себе не подпустят.

В окне напротив показалось бородатое лицо. Кто-то помахал ей рукой и скрылся. Да это же Игнат. Как она забыла о нем? Скорей к нему! Скорей!

Он сидел на стуле, выкраивал из куска кожи подошвы для ичигов. Пригляделся к ней, отодвинул кожу.

– На тебе лица нет, Настюха. Что такое?

Она думала, расскажет ему коротко, спокойно, но, едва завела разговор, едва произнесла слово, губы заплесали, ноги подогнулись, она упала головой ему на колени и, уж не сдерживая себя, не пытаясь сдержать, надрывно застонала.

– Что ты? Что ты? – Грубыми, твердыми, пропахшими дубленой кожей ладонями он сжал ее щеки, попробовал приподнять голову, но она еще плотнее втискивала лицо в колени. – С Лазурькой?.. Говори же!

– Н-н-нет...

– Подожди маленько, не реви... – растерянно говорил он и гладил ее по голове, по мокрым щекам. Чем-то далеким-далеким, как позабытый сон, повеяло на нее. В детстве, когда мать лупила ее за что-нибудь, она забиралась к отцу на колени, и он так же вот гладил ее по голове, вытирал ладонями слезы. Тогда он был еще молодым, и руки у него были тоже твердыми, как щепки...

Она замолчала, только всхлипывала. Иссякающие слезы словно унесли часть ее горя, ее боли.

– Что случилось, Настенька?

Подняв заплаканное лицо, она увидела венчик бороды, наморщенный лоб и добрые, ждущие глаза.

– Корнюшка бросил... А у меня будет реб-беночек... – И опять забилась в рыданиях.

Руки его, чуть дрогнув, замерли на голове, налились тяжестью, будто очугунели. Казалось, если он не уберет их, они расплющат ей голову.

– Встань! – сказал он, приподнял ее под мышки. – Кто тебе это сказал?

– Сам он. – Увидев лицо Игната, она испугалась перемене, которая произошла с ним; за какую-то минуту все черты заострились, в глазах, как ночью в омуте, – чернота, бездонная глубь и холод. – Прости меня, непутную. Сама виноватая, а жалуюсь.

– Вы что, разругались? – тихо спросил он.

– Ни разу не ругались. Нашел себе другую... Которая с ним на заимке жила...

– Почему же ты молчала, пока он тут был? Эх, Настюха, Настюха... – Вздыхнул, посидел, разглядывая половицы под ногами, поднялся. – Ты посиди, я скоро ворочусь.

Он оделся, пошел, посунувшись вперед, ставя ногу на всю ступню. Так же вот уходил он от нее с огорода. Как же она забыла об этом? Как смела прийти к нему?

Настя заметалась по избе, кусая ногти, твердила себе: «Надо уйти. Надо уйти». Но не уходила. Крохотная надежда замигала светлячком, поманила...

Возвратившись, Игнат целых сто лет кашлял, вытирал ноги на крыльце. Потом долго раздевался. И все молчал задумчиво.

– Откудова взяла, что он с той девкой спутался? – спросил он наконец. – Она, Настюха, замуж выходит за Агапку Пискуна. Сама мне сказала. Отругала... Я, говорит, таких женихов, как ваш Корнюха, перевидела немало. И почище были... – Игнат говорил неторопливо, тихо и будто вслушивался в свои слова, будто искал за ними что-то скрытое, непонятное. Сел на лавку, захватил в ладонь бороду, спрятал ее в кулаке и сразу стал похож на Корнюху – каким тот был первое время.

– Господи, до чего у тебя доброе сердце, Игнат!

– Иди домой, Настюха. Не порти лицо слезами. Твой Корнейка никуда не денется. Пусть только заартачится, я ему, кобелю, ребра посчитаю!

## XIX

Корнюха думал: обернется самое большее за неделю, но не тут-то было. Только на базаре проторчал около десяти дней. Попал в самое что ни на есть плохое время. Из ближних и даль-

них деревень везли мужики целыми возами говядину, баранину, янтарно-желтые свиные туши. Лабазы прямо ломились от мяса разных сортов. Городские дамочки совсем зарылись. Подойдет, пошевелит кончиком чистенького пальца добренное, розовое с белыми прослойками жира мяса, поморщится, будто перед ней ободранная падаль, и идет дальше, проклятая. Первое время Корнюха приплясывал за прилавком, во все горло расхваливал товар, смеялся, шуточки шутил, но увидел, что им своя копейка дороже его прибауток, помрачнел. Что-то беспокоило его, хотя и беспокоиться вроде как и не о чем. Разве Настя что выкинет, у нее, у дуры, на все ума хватит.

Чуть было не отдал мясо свалом по дешевке, но в последний момент пересилил себя. Мясо, оно не чужое. Из вырученных денег он ни копейки не даст Пискуну. Ломал на него горб столько времени не за сиротские гроши. Пискун, может, и покричит, поругается, но ничего не сделает – власть завсегда его, Корнюхину, сторону примет.

Кое-как распродав мясо, он походил по магазинам, купил себе пару крепких штанов, материи на рубахи. Усте в подарок – сережки с цветными стекляшками.

За два дня рассчитывал добежать до дому, но и тут задержка вышла: в пути его прихватила пурга. Дорогу перемело. Колеса со скрипом резали сугробы, запаренные лошади еле тащились. В Тугнue ветер гулял лихо, с завыванием и свистом. Снежная пыль стлалась по земле косматыми жгутами. Корнюха, согреваясь, шагал за телегой, на подъемах упирался плечом, подталкивая воз. Как ни старался, только на третий день вечером дотянул до Тайшихи. На улице за домами было затишье. Взбаламученным туманом кружилась у окон снежная пыль и оседала в суметы.

Подъезжая к дому Пискуна, он услышал смятую ветром песню, лихие переборы гармошки, подумал: «Эге, кто-то дымит крепко! Не мешало бы сейчас попасть в застольицу да чебурахнуть огненной самогонки. Хороша, стерва, с морозу!»

Все ставни дома Пискуна были раскрыты, окна светились необычно ярко. С улицы, повиснув на наличниках, в дом засматривали ребята. Сердце у Корнюхи екнуло, затрепыхалось, распирая грудь. Бросив лошадей у ворот, он понужнул ребятишек и заглянул в заиндевшее окошко. В доме дым коромыслом. Бабы, мужики, празднично одетые, сидят за столами, уставленными бутылками, закусью, а меж столами вертится в пляске, трясет рыжей бородой Еремка Кузнецов.

Корнюха рысью побежал в дом. В сенях, у дверей казенки столкнулся с Хавроньей. В одной руке она держала свечу, в другой – чашку, полную соленых рыжиков.

– Что тут делается? – Он схватил ее за проймы сарафана. – Что? Говори скорее!

– Свадьба, Корнюшенька. Сподобил Господь, внял моим вдовым мольбам...

– У-у, ведьма старая! – Выбил из ее рук чашку, заскочил в избу и защелкнул на крючок дверь за собой.

Теплом, густым сивушным духом, запахом стряпни пахло в лицо; пьяная воркотня гармошки, стук каблуков, крики, звон посуды, нескладная песня – все звуки смешались, сплелись в один клубок, обрушились на Корнюху.

В переднем углу под образами в бабьей кичке, румяная, несказанно красивая, стояла Устюха. Огни сверкали, дробились в бисере ее убора, в янтаре ожерелий, в стекле бус, трепетали на кольцах сережек.

– Горько! – разноголосо орали гости.

Прямо перед ним, заслоняя Устю, привскакивал затылок Тараски Акинфеева. Тараска размахивал стаканом и утробным ревом перекрывал разноголосицу пьяного застолья:

– Горька-а-а! Целуй ее, Агапка, не то я свою бабу целовать начну! Горька-а-а!

Хохот, шум.

«Чтоб ты сдох, сволочь толстобрюхая!»

Блестя прилизанной, смазанной коровьим маслом головой, Агапка приподнялся на цыпочки, обхватил Устюху за плечи и, как телок к сиське, потянулся к ее губам. Качнулось застолье, завертелось разноцветным хороводом... Корнюха на мгновение прикрыл глаза.

В дверь изо всех сил колотила Хавронья. На стук стали оборачиваться и увидели Корнюху.

– Корнейка, друг ты мой дорогой!.. – завопил Тараска, ткнул свою бабу в бок. – Очисти место! Садись сюда!..

И подскочил, вцепился в рукав полушубка, потянул к столу.

– Отойди!.. – Корнюха двинул его плечом, стуча мерзлыми ичигами, прошел вперед, остановился против молодых.

Полушубок, шапка ли, забитая снегом, или что-то неладное в лице его, во взгляде утихомирили застолье. Все смотрели на него. И Устя смотрела немигающими глазами – строго и отчужденно.

За его спиной что-то визгливо выкрикивала Хавронья, гудели, уговаривая ее, мужики.

– Налейте ему! – сказала Устя. – Выпей, Корнюшка, за мое счастье-злосчастье, за долю-неволю. И я с тобой выпью.

Она подняла тонконогую рюмку, потянулась к нему. Ему кто-то услужливо подал гра-  
ненный стакан, налитый доверху. Опершись одной рукой о чью-то спину, он перегнулся через стол, дотронулся стаканом до ее рюмки. Устя зажмурилась, опрокинула рюмку и, пустую, показала Корнюхе. А он пил медленно, маленькими глотками, не чувствуя горечи самогона. Выпив, обтер губы, повертел стакан, попросил:

– Налейте еще...

Сам Пискун подбежал с бутылкой, наполнил стакан, шепотком похвастал:

– Это еще николаевская... Такой теперь нигде нету.

– Что тебе сказать, Устя? – спросил он почти спокойно и тут же сорвался на крик: – Змея зеленоглазая! Сука медеянская! – и выплеснул водку ей в лицо.

На мгновение замерло все застолье, потом дружно ахнуло. Дальний родич Пискуна Ани-  
сим Нефедыч Кравцов, мужик лысый, краснорожий, медведем всплыл над столом, спросил заикаясь:

– Эт-та что-о т-такое?

– А вот что! – Корнюха запустил в него стаканом, но промазал. Стакан расшибся о стену, осыпая стол осколками.

Не помнил Корнюха, что было дальше. Рев, бабий визг, удары, шум в голове и острая боль в боку и беспамятство...

Очнулся дома на кровати. Возле него стояли братья, Татьяна и Тараска с Лучкой Бого-  
мазовым. Вся рубаха на Тараске была изодрана в клочья, на белой мягкой груди кровоточила глубокая царапина, нос вздулся, расплылся на пол-лица. И Лучка тоже был ободран, на левом глазу у него лиловел синяк, все лицо пестрело ссадинами.

– Смотри, глазами лупает! – засмеялся Тараска, наклонился над ним. – А мы думали, что тебе каюк. Ну давай оживай. Ты нам с Лучкой не одну бутылку должен поставить. Быть бы тебе сегодня покойником, кабы не мы с Лучкой. Верно я говорю, Лучка? От целых ста человек отбились. Нет, есть в нас еще партизанская закваска! Еще можем бодаться.

Крепко изуродовали мужики Корнюху. Разбили голову, вывихнули руку. Поправлялся он долго и трудно. Безучастный ко всему, худой, бородатый, лежал на кровати, целыми днями разглядывал щели в потолке. Все утеряно. Худосочный Агапка взял верх: то, чего он, Корнюха, не мог добиться ни удалю, ни ловкостью, Агапке само пришлось в руки. Вот она, жизнь... Что значит сила и удаль, если ни двора, ни кола и сам без малого голопузый...

Приходил раза два Лазурька, допытывался, как было дело, по какой причине случилась драка. Корнюха отмалчивался или говорил ничего не значащие слова:

– Так... По дуности...

– Дуности у тебя хватает, – соглашался Лазурька. – Но об этом разговор впереди. Поправляйся.

О чем он хочет говорить – не о Насте ли? Может, и о ней. Но разговор этот без пользы будет.

Однажды, когда в избе не было ни Максима, ни Татьянки, на край кровати присел Игнат, отводя взгляд в сторону, спросил:

– Ты про женитьбу что-нибудь думаешь?

– Уже женился... – горько усмехнулся Корнюха. – Сыграл свою свадьбу.

– А Настя?

– Настя? Что она мне, Настя?

– Не прикидывайся недоумком! – К лицу Игната прилила кровь. – Поломал ей жизнь! Куда она теперь с брюхом-то?

У Корнюхи засосало под ложечкой. Настя брюхатая? Вот это ловко!

– Я уезжаю на мельницу, там буду жить, – говорил Игнат с напряжением в голосе. – А ты уладь все по-людски. Да и зачем тебе крутиться, разве сыщешь лучше Настюхи? Пойду попрошу, чтобы пришла.

– Подожди-ка, Игнат...

– Чего ждать? Лежи и думай, как перед ней повиниться.

Он надеялся, что Настя не придет. Но она пришла, остановилась у дверей, спросила:

– Зачем звал?

Переменилась Настя. В карих с рыжими пятнышками глазах уже не было беспабашного озорства, они смотрели невесело.

– Подай водицы.

Настя принесла ковш воды, отвернулась к окну.

– Ребенка ждешь?

– Жду.

– Отец узнает об этом последним?

– У него нет отца.

– Болтай больше...

Настя промолчала. Ногтем на обмерзшей стеклине она рисовала домик с трубой и косыми окнами. Корнюха смотрел на нее, и что-то прежнее, забытое шевельнулось в его душе, пахло на него теплом былых радостей.

– Ты знаешь что... Жизнь нам надо налаживать. А, Настюха?

– Не получится, Корнюшка. Об жизни у нас разговоры были раньше. Много разговаривали...

– Укоряешь? Конь на четырех ногах и то спотыкается.

– Спотычки всякие бывают. Ты думаешь, Настя подстилка: когда захотел, тогда и разостлал. Не вышло там, выйдет тут. Настя что – дура, только пальцем помани, побежит, как собака за возом. Нет, Корнюшка. – Она перечеркнула нарисованный домик и стерла его горячей ладонью.

– Будет тебе кочевряжиться! Ну, виноват, ну, прости...

– Простить... что ж, можно. Но прежнего не воротишь. Любила я тебя, Корнюшка, больше жизни своей, с ума по тебе сходила. Но вся моя любовь свернулась, как береста на огне, обуглилась, и уж ничем ее не оживишь. Не мил ты мне больше. Чужой, опостылевший. – Она говорила тихо, спокойно, и это странным образом утяжеляло ее слова.

– Перестань ерунду городить! – крикнул Корнюха. – Глупые у тебя рассуждения! Куда ты теперь с пузом? Кто тебя возьмет? Кому ты нужна такая?

– Мне никого не надо. Одна буду жить.

– Ему отец нужен! Слышишь ты! – закричал Корнюха. Сейчас, когда Настя бесповоротно отвергла его, он позабыл обо всем, хотелось удержать ее во что бы то ни стало.

– Не кричи, Корнюшка. – Настя вздохнула. – Не могу я ничего с собой поделать.

– Ну и черт с тобой! Подожди, запоешь иначе.

– Не будет этого, я себя знаю. А ты меня прости, что все расстроила тебе с той... Одичала я от горя тогда. Теперь-то жалко, что поперек дороги стала.

– Что ты сделала?

– Про ребенка ей сказала. Так-то она, думаю, не пошла бы за Агапку.

– Ты – дрянь! Ты – подлая баба!

– Наверно... – Она покорно наклонила голову. – Прощай, Корнюшка. О том, что ты отец моему ребенку, знают только двое – Игнат и она. Наверяд ли кому скажут... Ты не тревожься.

Она ушла, осторожно притворив за собой дверь.

Немного погодя домой вернулся Игнат. Долго ни о чем не спрашивал – видно, ждал, когда Корнюха заговорит сам, наконец не вытерпел:

– Ну так что, договорились?

– Отвяжись от меня! Не досаждай! – Корнюха отвернулся к стене.

День ото дня ему становилось лучше, но он по-прежнему валялся на постели, медленно перемалывая крошечку мыслей. Думать ему никто не мешал. Игнат уехал. Татьянка не лезла с разговорами, стеснялась его, а Максюха редко бывал дома. Младшему Корнюха немного завидовал. Жизнь у парня пошла ровным ходом, без рывков, но и без остановок. И Игната, и его, Корнюху, перепрыгнул, женился; с Татьянкой своей живет душа в душу, не ругаются, не спорят, все посмеиваются, подшучивают друг над другом, и не бывает у них разговоров, что нет того, нет этого: всем довольны. Смотрит на них Корнюха и еще более становится от своей покинутости и бесприютности.

С утра до поздней ночи Максюха и Лазурька толклись в сельсовете, ходили по дворам, сговаривая мужиков записываться в колхоз. Дело это подвигалось у них туго. Записывались пока те, у кого добра – в одном мешке унести можно. Мужики покрепче выжидали. Макся и с ним завел было разговор о колхозе, но Корнюха сказал, что надо погодить, торопиться ему некуда.

Какой там колхоз, когда неизвестно, чем он будет заниматься. Может, бросить все и уйти в город? Уйти подальше от этих мест, чтобы и звука из Тайшихи не доносилось. Однако решиться на этот шаг было непросто: разве может заменить казенная работа хлеборобство? Но что-то делать надо, всю жизнь лежать в постели не будешь.

Поднялся, и его потянуло в поля. Проулком вышел из деревни. Поля, сопки полыхали ослепительной белизной, снег ядрено всхрапывал под ногами. Медленно, с остановками, проламывая в заносах неровную тропу, он спустился к речке. Вода сонно всхлипывала подо льдом, мохнатые, отяжелевшие от инея кусты тальника никли к сугробам, с берега свисала желтой челкой сухая трава. Где-то здесь он встречался с Настей, целовал ее в горячие губы, и жизнь виделась тогда совсем другой.

Под берегом разложил огонь, грел руки, невидящими глазами смотрел перед собой. Жалел, что нельзя начисто выстричь из памяти год жизни дома и Настю, и Устю, и Пискунов, чтобы все начать заново.

Солнце сползло за крутые лбы сопки, снега напоследок вспыхнули алым цветом и погасли. Луна, до этого бледно-голубоватая, налилась желтизной, и стылый свет ее замерцал на сугробах.

Корнюха сидел, пока не прогорели все дрова. Тяготясь нерешительностью, пошел обратно по своему следу. Трудно кинуть все и уехать. Но еще труднее остаться и начинать с самого начала, начинать, когда знаешь, что уже не будешь работать с прежней яростью.

Зашел в сельсовет, дождался, когда народ разойдется, попросил Лазурьку:



– Выправь мне бумагу. Уехать хочу...

– Уехать? – Лазурька удивленно-задумчиво посмотрел на него. – А зачем? Сам не знаешь? Если бы ты рвался на завод, на стройку, в большой мир, ближе к боевому рабочему классу... Но и тут следовало подумать – отпускать ли? Судьба социализма сейчас решается здесь, в деревне.

– Пусть решается, я-то при чем? – угрюмо спросил Корнюха.

– Экий же ты тугоухий! Ну ничего-то до тебя не доходит. Пойми своей дурьей башкой, тому, что дала нам советская власть, цены нет. В народе ходит поверье о разрыв-траве. Она вроде бы может открывать любые замки, разрушать любые запоры. Но то – сказка. А советская власть дала нам силу, способную разорвать оковы, в которых семейщина века держала себя. Хрипела от тесноты, но держала.

– Да мне-то что до этого! – начал сердиться Корнюха.

– Как это что?! Мы оковы сшибаем – ты в стороне. Мало того – сам в них влазишь. Натерли шею – поделом! Сопли из-за бабы распустил – тьфу!

– Хватить тебе, Лазарь! Дашь бумагу?

– Бумагу не дам. И разговор с тобой далеко не окончен. – Лазурька поднялся, надел полушубок. – Пошли к вам. Там и потолкуем. Давно до тебя добираюсь. Все хитрости, у Пискуна перенятые, видел, но руки...

Его прервал выстрел, звонко ударивший за окном. Лазурька выругался вполголоса, шагнул к дверям, а навстречу ему, без шапки, с дико вытаращенными глазами, – Ерема Кузнецов. Он зажимал рукой плечо, из-под пальца выступила кровь.

– Спасите! Убивают!

Пуля зыкнула по стеклине окна, ударила об угол печки, отбив кусок кирпича и ошелопив известью. Лазурька выхватил из кармана револьвер, угасил лампу.

Корнюха подбежал к двери, защелкнул крючок. С улицы били по окнам. Пули, пропарывая стекла, чмокали в противоположную стену. Корнюха ползком перебрался в дальний беззаконный угол. Там Лазурька допрашивал Ерему.

– Кто стреляет?

Ерема стонал, охал, ныл:

– Ой-ой, больно мне! Убили, паразиты! Убили, проклятые!

– Кого убили?

– Меня, Изотыч, убили! Стигнейка и Агапка. Ой-ой...

– Говори толком!

– Не по доброй воле... Принудили. Оплели кругом... Защити, Изотыч!

– К чему принудили? Кого? Что ты плетешь?

– Я был с ними заодно... Принудили. Они восстание задумали. Я – ходу. Они – стрелять. Лазурька подобрался к телефону, яростно крутнул ручку.

– Алё, алё!.. Молчит! Алё! Должно, срезали провода... Худо наше дело.

Выстрелы на улице смолкли. Кто-то хрипло закричал:

– Эй вы, вылезьте на свет божий!

Лазурька, припадая к полу, скользнул к окну, выглянул из-за косяка, крикнул:

– Жизни вам своей не жалко, сволочи! Складывайте оружие, дурье пустоголовое!

За окном засмеялись:

– Пошупай штаны, Лазурька! – Это был голос Агапки.

Корнюха подполз к Лазарю, задыхаясь от ненависти, зашептал:

– Дай револьвер! Дай! Срежу мокрогубого.

– Их не видно. В канаве прячутся.

Луна закатилась, стало темно. Слабо отсвечивал снег на дороге, равнодушно мигали редкие звезды. Лазурька держал револьвер наготове и, когда под забором на той стороне улицы зашевелилось что-то черное, выстрелил. В ответ залпом ударили три винтовки.

– Вылазьте, вам говорят! – надрывался Агапка.

В разбитые окна тянуло холодом, под ногами хрустели осколки стекол. В углу тихо скулил Ерема.

– Ползи за мной, – сказал Лазурька Корнюхе.

Они перебрались в запечье. Лазарь поднялся.

– Ты вот что... Выбирайся отсюда. На заднем дворе – конь сельсоветовский. Дуй в район. Хотя... Скачи лучше к Батохе. Тут ближе.

– А как я выберусь?

– Тут есть ход. Залезешь на потолок, оттуда на крышу. Остерегайся. Заметят – собьют, как белку с лесины.

– Постой, а ты? Пошли вместе.

– Пошел бы... Но – Ерема. Убьют они его. Да я ничего, отсижусь, не подпущу. Давай, влезай мне на плечи...

С крыши Корнюха увидел в дальнем конце Тайшихи багровые отблески пожара. Пламя, разгораясь, поднималось все выше, обрисовывая черные контуры крыши. Тихо, по-кошачьи, он спустился на землю, дополз до двора, вывел лошадь.

Проехать нужно было шагах в ста от стреляющих. Сумеет ли он проскочить? Страх не было. Он чувствовал себя как перед прыжком в воду – и боязно, и весело. Концом ремennого поводка резанул лошадь по боку, вымахнул за угол, повернулся, и вот он середь улицы, весь на виду.

– Стой!

– Стою, хоть дой! – с озорством откликнулся он, хлестая лошадь.

«Дзинь! Дзинь!» – пропели над головой пули. Но сбоку уже чернел спасительный переулочек. Заскочил в него, прислушался. Стреляли не только у сельсовета. То в одном, то в другом месте тугой морозный воздух рассекали отрывистые рваные звуки.

Он погнал лошадь в бурятские степи. За спиной вспухал, поднимался к звездам огненный столб.

...В предрассветной тишине цокот подков по мерзлой земле разносился далеко вокруг. Разношерстная, кое-как вооруженная толпа верховых подскакала к Тайшихе, сбилась в кучу. Тяжело дышали запаленные лошади, клубился горячий пар.

– Давай поделимся, – сказал Корнюха. – Ты, Батоха, двигай по улице на сельсовет, а я с двумя-тремя парнями прочешу проулки.

Батоха заговорил по-бурятски, тронул лошадь.

Огородами, по сугробам, бросая оружие, разбегались «повстанцы». Корнюха, бросив лошадь, перескочил через забор, увязался за одним из них, настиг у чьего-то сеновала.

– Стой, так твою душу!

Человек затравленно оглянулся. Это был Прокопка-мельник. Он сипло дышал, хватался за грудь руками, рвал пуговицы полушубка.

– Допрыгался? Шагай назад! Лазурька живой?

– Уб-б-били! Не я... Агапка. Может, Стигнейка... Я вверх стрелял, истинный крест! – Побелевшие губы Прокопа кривились и мелко подрагивали.

Корнюха двинул его прикладом в бок, крикнул подбежавшим бурятам:

– Гоните в сельсовет, – пнул Прокопа ниже спины. – Аника-воин... Где Пискуны?

– Подались... Туда... – Прокоп показал рукой в сторону кладбища.

Вскочив на лошадь, Корнюха обогнул огороды, стараясь перерезать Пискунам дорогу к лесу. Стало совсем светло, и он издали увидел своих бывших хозяев – черную борчатку

Агапки и темно-желтую дубленку Харитона. Оба они, Агапка впереди, Харитон приотстав, карабкались на голую кручь косогора. Камешки вылетали из-под ног, струйками сбегали вниз, застревали в сугробах. Агапка опирался на винтовку, Харитон был без ружья, он цеплялся за кремнистую землю и ногами, и руками.

– Назад! – крикнул Корнюха, останавливая перед косогором лошадь.

Агапка обернулся, вскинул винтовку, выстрелил и еще быстрее заработал ногами. Перевалял через косогор, а там лес... Корнюха поймал на мушку черную борчатку, затаил дыхание, нажал на спуск. Агапка подпрыгнул, упал навзничь и покатился вниз, за ним змеей поползла винтовка. Харитон остановился, постоял, сел и поехал следом за сыном, отталкиваясь руками.

Спешившись, держа винтовку наготове, Корнюха наклонился над Агапкой, перевернул его на спину. Он был мертв. С шумом подъехал Пискун, упал ухом на грудь сыну, послушал сердце и заголосил по-бабьи:

– Соколик ты мой ясный, солнышко мое незакатное, на кого ты меня спокинул?

Из черной дыры рта Харитона ползли слюни и застывали на закуржавевшей бороде.

– Пошли! – стволом винтовки Корнюха слегка толкнул его в спину.

Старик поднял на Корнюху заслезенные глаза, моргнул подслеповато, будто не узнавая, и вдруг, глухо замычав, вскочил, выдернул из-за пазухи наган. Корнюха прыгнул в сторону, и выстрел поднял фонтанчик снега в полуметре от его ног. Мгновенно, действуя почти неосознанно, он, не поднимая винтовки, повел стволом и дернул спусковой крючок. Пискун переломился, как ножик-складень, и ткнулся головой в снег.

Ведя лошадь в поводу, он подошел к дому Пискунов, постучался. Из окна выглянула Устя.

– Выйди на минутку, – попросил он.

Устя в платке, наброшенном на голову, остановилась в воротах.

– Что надо?

– Запрягай коня. Твой мужик и свекор под бугром у могилок лежат, – тихо сказал он и, не подняв на нее глаз, пошел по улице.

Навстречу ему, полураздетая, вся в слезах, бежала Татьяна.

– Максим умирает! Мамочки, что я буду делать!

## XX

Игнат грелся у печки. Вставал он рано, до свету, затопив печь, садился перед огнем на широкую лавку. Холод проникал сквозь щелястый пол, студил босые ноги. Обуваться ему было лень, ставил ноги на лавку, обнимал колени и сидел так, пока не засинеют оледенелые стекла окон. Потом шел сдобривать лед у лотка мельницы.

Широкие языки пламени облизывали свод печки, ручьем дегтя тек в трубу дым, на торцах поленьев выступали капли смолы, скатывались на угли и, потрескивая, ярко вспыхивали.

На опечке лежала толстая, с бронзовыми застежками книга Святого Писания. Игнат потянулся к ней, но брать раздумал. На темной коже переплета, запорошенной пылью, отпечатались его пальцы. Первое время он каждое утро раскрывал книгу, елозил пальцем по затейливой вязи старинного письма, старался вникнуть в суть мудреных слов. Не находил там ответа. Жизнь, она проще и непонятнее. Родился человек, живет тихо, ровно, будто едет на телеге по накатанной дороге, вдруг ни с того ни с сего – хоп! – телега опрокинулась, развалилась к чертям собачьим, а сам он кувырком летит под откос, и не за что ему зацепиться, и невозможно понять, отчего так получилось. Ферапонт это дело разъясняет просто: у человека имеется судьба, даденная ему Господом Богом. Пусть так. Но чем руководится Бог, когда делит судьбы? Почему одному дает добрую, другому никуда не годную? С другой стороны, если вся твоя поступь по жизни загодя начерчена – зачем молитвы? Что переменится, если наделен

такой судьбой? Где согрешить, где сотворить добро, когда получить счастье, когда горе – все определено судьбой. Человек над собой не властен. Тогда что же?.. Зло, ненависть, как были от веку, так и останутся? И кровь людская будет литься, и горе горькое будет гулять по земле?

Прогорели в печке дрова, осели, затянулись пеплом угли. Игнат закрыл трубу, вышел из зимовья. Уже давно рассвело, на вершины сосен, припорошенных снегом, упал желтый солнечный свет, но в пади у мельницы было сумрачно. Выше пруда кипела речка, и над нею клубился седой туман, закуржавевшие заросли тальника и ерника по берегам были похожи на огромные хлопья застывшей пены.

Сняв с кола обмерзшее ведро, Игнат спустился к проруби, поднял пешню. Где-то далеко за лесом слышались звуки выстрелов. Игнат постоял, поворачивая голову то в одну, то в другую сторону, прислушался. Стылая тишина молчала. Наверно, не выстрелы то были, треснуло мерзлое дерево или лопнул лед, облитый наледью.

Обдолбив край проруби, Игнат зачерпнул воды, направился к избе и остановился. За забором качнулись, осыпая снег, молоденькие елочки. Кто там – зверь, человек? Поставил ведро на ступеньку крыльца, подошел к забору. Лапы елочек раздвинулись, из-за них выглянул Стигнейка Сохатый.

– Ты один тут? – спросил он.

– Один.

Стигнейка, крюча палец на спуске винтовки, перелез через забор. Он тяжело, загнанно дышал, лицо было мокро от пота.

– Спаси еще раз, Игнат! За мной гонятся... Не уйти, из сил выбился. Стрелять не хочу...

Игнат неторопливо сметал еловым веником снег с унтов, молчал. На дороге, уползающей в чащу леса, приглушенный далью, слышался скрип снега под копытами лошадей.

– Скорей! – Стигнейка заскочил в зимовье, забежал из угла в угол.

Ни слова не сказав, Игнат отпер подполье, показал пальцем в черную дыру. Стигнейка нырнул в нее и затих, затаился. Игнат захлопнул крышку, накидал на нее поленьев, вышел на крыльцо.

Из лесу вывернулись двое вооруженных верховых, на рысях подошли к зимовью. Это были Лучка Богомазов и Стишка Клохтун.

– Ты никого тут не видел? – позабыв поздороваться, спросил Лучка.

– Н-нет, а что?

– Наделали делов наши гады! Лазурьку застрелили...

– Насмерть?

– Прямо в голову... Максюху, брата твоего, подбили, вот его, Стихии, дом спалили.

Игнат похолодел, отяжелело привалился плечом к косяку.

– Всех бы нас перецокали, кабы не Батоха с ребятами, – сказал Стишка. – Ну, поехали, Лука. Говорил тебе, в другую сторону подался Стигнейка. Не ушел бы совсем, волк двуногий!

– Постойте, мужики! – Игнат поймал за повод Лучкину лошадь. – Он с ними был, Стигнейка?

– Где же ему быть? Не могла ему Танюха бельмы вышпарить! Может, и Лазарь живой бы остался, и Максюха цел был...

– Об чем говоришь?..

– Сегодня мне рассказала. Был Стигнейка осенью на заимке тестя, хотел Максюху кончить, а Татьяна кружку кипятка ему на шею вылила.

Игнат опустил голову.

– Господи боже мой, что делается?! Где твоя справедливость, Господи? Где гнев твой? Где правда твоя?

– Ты на колени стань, помолись своему боженьке! – зло усмехнулся Стишка. – Поехали.

Они ускакали. Игнат вернулся в зимовье, не раздеваясь, сел на лавку. Сейчас он был как пустой мешок, внутри ничего не осталось. Лазурьку убили... Лазурьку... Уж если кто жил для людей, так это он. Всеми своими помыслами был заострен супротив нужды, сгибающей человека. А его убили. Нет уже Лазаря... А что с Максюхой? И без этого, бедняга, телом слабый, войной с малолетства измученный... Надо бежать домой.

Но он не в силах был подняться. Самые страшные мысли еще не оформились в нем, не влезли в тесную оболочку слов. Наверно, и слов таких не было, чтобы вместить все то, что понималось в нем. Четко, ясно вспомнил памятную встречу с Сохатым. Мыши шуршали в траве, играла гармошка, девки взвизгивали и смеялись, а в это время, прячась в темноте, шел в село Стигнейка, нес в руках смерть. Разжалобив его брехней бессовестной, обдурил, как маленького. И вот нет Лазурьки. «Кто его убил? Сохатый? А не ты? Доставил бы его к Лазарю Изотычу, тот выкрутил бы все, что знал Сохатый о злых умыслах своих попутчиков. Отпустил, не остановил руку убийцы, добротой хотел смирить его, клятвой связать. Господи, почему помutil мой разум в ту минуту? Господи, почему не вразумил меня?»

Под полом завожился, тихо постучал в крышку Стигнейка. Игнат вздрогнул, поднялся, сдвинул ногой поленья. Постоял, зажмурив глаза, покачиваясь на носках, открыл подполье. Сохатый высунул голову, подозрительно огляделся, сказал, лязгая зубами:

– 3-зам-мерз...

– Вылазь, сейчас тебе тепло будет.

Стигнейка положил винтовку на пол, оперся руками о край дыры. Игнат взял винтовку, сел на кровать и, когда Стигнейка вылез, спросил будничным, усталым голосом:

– Еще оружие есть при тебе?

– Ничего нету. – В глазах Стигнейки мелькнул испуг. – Не забирай, ради бога, винтовку, Назарыч! Без нее – хана!

– Повернись лицом к стене, подыми руки, – тихо приказал Игнат.

– Да ты что, бог с тобой? Ты что надумал?

– Вставай, вставай!

Стигнейка повернулся к печке, вскинул руки на чумал, замер, вжав голову в плечи. Игнат обшарил его карманы, ничего не нашел, сел опять на кровать.

– Скажи мне, Стигней, кем человеку жизнь дадена?

– Богом...

– Вишь ты какой, все понимаешь. А кто лишает человека жизни?

– Ну, тоже Бог... – Стигнейка был сбит с толку этими вопросами, спокойным тоном Игната. – Без воли Божьей не упадет с головы и волос.

– Так, так... Ты, значит, Божью волю правишь? Нажал на эту штуку, – Игнат притронулся пальцем к спусковому крючку, – и нет человека. А разве он для того родился, чтобы до времени, в полном соку сгнить от твоей поганой руки? – Игнат тяжело вздохнул, с тоскливым упреком спросил: – Ну зачем ты обманул меня? Зачем остался?

– Да ведь я что? – заспешил, зачастил скороговоркой Сохатый, заискивающе заглядывая в глаза Игнату. – Не убивец я... я...

– Молчи, Стигнейка! – болезненно сморщился Игнат, помолчал, медленно, трудно поднялся. – Выходи на улицу.

– А зачем? Прости еще раз, родимый!

– Выходи на улицу! – повторил Игнат.

Оглядываясь, Сохатый вышел, поежился, поднял воротник полушубка.

– Куда поведешь – к басурманам неумытым? На расправу лиходеям отдаешь? Не простит тебя Бог за это, отдаст в руки сатаны.

Игнат молчал. Шагнул за ним, упираясь стволом винтовки в спину, туго обтянутую поношенным полушубком.

Шли по дороге, взрытой копытами лошадей. Стигнейка запинался о комья снега, шагал через силу, тяжело, словно на ступни ему свинца навешали. Слева, за дорогой, в кустах тальника кипела речка. Это глубинные родники, раскалывая толщу льда, вырывались наружу, и текла по руслу густая и темная наледь, белый пар рвался вверх, оседая на ветках кустов и деревьев колючими блестками.

В полуверсте от мельницы, где дорогу пересекала чуть заметная, продавленная в снегу тропа, Игнат велел Сохатому свернуть в сторону. Стигнейка обернулся. Недоумение, надежда, страх отразились в его взгляде.

Тропа привела их к старому буераку, замеченному почти доверху снегом. Здесь тропа затерялась. Стигнейка остановился.

– Куда дальше?

– Пришли. Молись, Стигней, Богу.

– Ты что, сбесился? Правов не имеешь! Веди куда положено!

– Молись Богу! – устало повторил Игнат.

– Не надо, Игнат Назарыч, не принимай ты грех на душу, не обрекай себя на вечные муки.

– Господи, спаси меня и помилуй... – прошептал Игнат, поднял винтовку. Глаза застилал туман, руки дрожали, мушка зигзагами приближалась к груди Сохатого.

– Стреляй, сволочь! – закричал Стигнейка. – Мало вас на тот свет отправил! Через то и гибну!

Он рванулся в сторону, прыгнул с берега буерака. Пуля настигла его на лету. Сохатый плечом продавил твердую корку сугроба, забил руками и ногами, погружаясь в черствый сыпучий снег. Последний раз он дернулся, когда снаружи оставались только ступни ног. Новые подошвы ичиг тускло и мертво взблескивали в негнущемся свете солнца.

Игнат выронил из рук винтовку, закрыл ладонями глаза, обессиленно привалился к сосне и застонал от нестерпимой душевной боли, от непреодолимого отвращения к себе, к этому злобному, порочному миру, где, защищая жизнь, надо лишать жизни. Он стонал и раскачивался, как подрубленное дерево, и отчаяние железными тисками сдавливало горло.

## XXI

В ту ночь, когда Лазурька отбивался от кулаков в сельсовете, его отец, старый Изот, жена Клавдия, сестра Настя не сомкнули глаз. Не зажигая света, они сидели в кути, вслушиваясь в приглушенные звуки выстрелов. Старик вначале порывался идти узнать, что там происходит, но Настя и Клавдия отговорили его.

Утром, едва рассвело, Изот оделся, взял берданку и пошел к сельсовету. А вскоре мимо окон, взметая снежную пыль, быстро промчались всадники.

Настя затопила печь, принялась готовить завтрак. Клавдия ей не помогала, выходила на крыльцо, прислушивалась, возвращалась в дом и протирала обмерзшим стеклам окна.

К дому подъехала телега, Тараска Акинфеев распахнул ворота, завел лошадь во двор.

– Старик здесь, а Лазаря что-то нет, – сказала Клавдия и пошла встречать. С крыльца донесся ее сдавленный крик. Распахнулась дверь, мужики внесли, осторожно положили на лавку Лазурьку. Боязливо поеживаясь, Настя подошла к брату, положила руку на белый как мел лоб, почувствовала холод мертвого тела, увидела мерзлый жгут крови на шее и не смогла выдать из горла крика, задохнулась, осела на пол, в ту же минуту острая боль резанула низ живота, поднялась выше, надавила на сердце.

Настя потеряла сознание.

Очнувшись она в чужом доме, в тесном, жарком запечье. За ситцевой занавеской шумели ребятишки, ворчливый женский голос уговаривал:

– Ну тише вы, тише, черти окайные!

Настя не сразу вспомнила, что произошло, а вспомнив, тихо, без слез заплакала. Хотела встать, но слабые руки подогнулись в локтях, голова упала на подушку.

Снова пришла в себя вечером. Над кроватью с лампой в руке стояла дородная баба, жалостливо моргала печальными глазами. Из-за ее плеча выглядывал Абросим Кравцов, весь какой-то помятый, растрепанный. А баба – узнала Настя – его жена, тетка Степанида, передала лампу мужу, поправила подушку.

– Как ты, голубушка?

Настя облизала сухие, спекшиеся губы, попросила пить. Хлебнув глоток теплого чая, она спросила:

– Что со мной содеялось?

– Напугалась ты шибко, милая. Ну и не донесла, скинула...

Огонь лампы показался Насте нестерпимо ярким, ярче июльского солнца. Она повернулась к стене, почувствовала, как вновь медленно, будто в топкое болото, погружается в забытие.

По капле возвращались к ней силы. Она часто плакала, по-детски всхлипывала, утирая кулаком слезы. Тетка Степанида ласково, по-матерински гладила ее по голове, утешала:

– Чему быть, того не миновать, голубушка. Жалко братку? Да ведь всем нам его жалко. Только слезы наши не живая вода, Настенька. Или ты жалеешь, что опросталась? Тут уж и вовсе не плакать, радоваться надо. Благодарю Бога, прикрыл он грех твой. Будешь жива-здоровая – ребятни наживешь...

Изредка Настю навещала невестка. Она не плакала, ничего не говорила о Лазурьке, глаза ее сухо блестели, быстрые вздрагивающие пальцы теребили воротничок городской, со шнурочками кофты, стриженные волосы торчали из-под плохо повязанного платка.

– Домой уезжать собираюсь. Не могу тут, – шептала она. – Звери, цепные собаки!..

Настя не просила ее остаться. Не прижилась здесь Клавдия, не проломила глухую стену недоверия семейщины к чужакам – чужой была, чужой осталась, жила для одного Лазаря, ради него с легкостью сносила насмешки падких на пересуды баб, не пыталась и не хотела понять их, ничего не делала, чтобы они поняли ее.

Не дождавшись, когда Настя поправится, Клавдия уехала.

Старый Изот, слабый, высохший, тихий, просил дочь:

– Скорей вставай, девка. Беда как плохо в доме. Пусто, будто в зимнем поле. Жить мне, Настенька, совсем неохота. Подсекли лиходеи корешок, торчу отсохшей вершиной... Тебе того не понять... Пойду я на могилу, пожалуйюсь сыночку на свою уродскую судьбину. – Горбятся, старчески шаркая ногами, он уходил.

Настя ждала: сурово и гневно требует он ответа за грех ее, боялась такого разговора с ним, но отец так и не спросил об этом. Едва начав держаться на ногах, Настя перебралась домой, а через три дня отец тихо, безропотно отдал Всевышнему душу.

И осталась Настя одна.

Крестьянская доля такая: горе у тебя, неможется, а рук опускать нельзя, скотина должна быть напоена и накормлена, дворы и стайки почищены, дрова наколоты, хлеб испечен. С большим трудом вела хозяйство Настя, из сил выбивалась, ни покоя, ни отдыха не знала. Но хуже самых сумасшедших хлопот была для нее тишина ночи. По углам осела темнота, сторожит каждое ее движение, шебаршит, вздыхает, деревянно поскрипывает. Не выдерживая, она вскакивала с постели, сломя голову бежала к Степаниде-Абросихе, находила приют в теплом запечье, за ситцевой занавеской. Тетка Степанида горестно качала головой:

– Пропадешь, замаешься, голубушка. О чем думает твой хахаль-то? Или огулял да и в сторону? Так ты мне намекни, кто он, я его, кобеля, усовестю.

– Никто мне не нужен!

– Дуришь, ох и дуришь ты, девка.

Ей и самой однажды показалось, что она дурит. Пришел как-то к ней вечером Корнюха. Долго вытирал у порога ноги, сел на стул к очагу, завернул папироску, не спеша прикурил. И все молчал, жмурился, отворачиваясь от синих прядей дыма, на похудевшем лице резко обозначились тяжелые скулы, зачерненные щетиной бороды. Не поднимая на нее глаз, он спросил:

– Ну как, не передумала?

Она тоже не смотрела на него. Ей сейчас представилось то, что было когда-то. Свет звезд застревал в листьях черемухи, и пахло теплом земли и освежающей горечью трав; его глаза влажно мерцали, а волосы пахли как травы, и весь он был ее, как теплая земля, как листья черемухи, как полевой ветер; счастье было простым, будто полный вдох чистого воздуха, и таким же необходимым, доступным. Все это было. И ничего нет. А почему?

– Что молчишь-то? – В голосе Корнюхи прозвучало нетерпение. Он бросил окурок, поднялся, положил руку на ее плечо, слегка сжал твердые пальцы. Настя повернулась, близко увидела его лицо: небритое, задубленное морозом, угрюмое, и губы в трещинах, и туго набрякшую жилу меж бровей, и толстый нос с приплюснутыми ноздрями – совсем не то лицо, – подавленно сказала:

– Отойди!

– Зря, Настя, зря. – Корнюха сунул руки в карманы полушубка, сел на прежнее место. – Помнишь наш последний разговор? Тогда я говорил по принуждению Игната. И правильно, что отшила. Но теперь сам пришел.

– Нет, Корнюшка, нет. Шел бы ты лучше совсем в другую сторону, к той... – Заметив, как он при этих словах дернул плечами, заспешила: – Не по бабьей злоязычности тебе говорю это.

– О ней – молчи. У меня тоже гордость есть. Так нет? Последнее твое слово?

– Последнее.

– Ладно... – Он помолчал, повторил: – Ладно... Дай тебе Бог хорошей жизни. – И ушел.

Погасив огонь, Настя пошла к тетке Степаниде. На улице в белом свете луны блестела отглянцованная полозьями саней дорога, искрились суметы у заборов, в стылом неподвижном воздухе – ни звука, не пробивается свет сквозь толстые ставни окон, люди попрятались в жарко натопленные избы – криком кричи, никто не услышит. А услышат, не поймут и не придут. Когда амбар обворован и хозяин кричит «караул!» – все понятно, но если молодость обворована, принято молчать и делать вид, что ничего не случилось.

Из переулка навстречу Насте выехал всадник в косматой дохе. Она посторонилась, давая дорогу, но всадник натянул поводья, наклонился к ней, неузнаваемый из-за инея, густо осевшего на мехе воротника дохи, на бороде и бровях.

– Куда собралась на ночь глядя?

– Игнат! Господи, сколько лет я тебя не видела!..

– А я все на мельнице, Настюха. Совсем редко бываю тут. – Он слез с лошади, пошел с Настей рядом, хлопая длинными полами дохи по ногам. – Бывает время, когда одному лучше.

– Это кому как, – вздохнула Настя. – Не боишься там?

– А чего?

– Ну звери там разные, волки...

– Звери, они, Настюха, для человека безвредные. Вот если человек озверееет, тут уж берегись. Повидал я в жизни всякого, а не могу к такому привыкнуть и понять не могу, Настюха, из-за чего, почему человек становится хуже хищной рыси...

Они подошли к воротам дома Абросима Кравцова, остановились. Игнат все говорил и говорил, не замечая, что Настя, легко одетая, начинает приплясывать для сугрева. Заметив, оборвал себя на полуслове:

– Ну, беги. Не то всю ночь буду байки рассказывать. Ты приходи к нам, Настюха.

– Навряд ли смогу.

– Ах да... Совсем у вас разохлось?



– Совсем. Никаким обручем не стянешь.

## XXII

Нахлобучив на глаза шапку, Корнюха медленно шел по улице, с досадой и удивлением хмыкал себе под нос. До сегодняшнего дня он все-таки всерьез не думал, что Настя просто, будто сурепку из пахоты, выдернет его из своего сердца. А он-то, дурак, прикидывал так, этак, ломал себе голову... Выходит, надо прокладывать новую тропу в жизни. Черт возьми, сколько раз можно начинать сначала! Эх, кабы не Пискуны... Всю-то жизнь испортили, проклятые!

После их смерти он первое время радовался. Отплатил за все обиды – одно дело. Второе, Устя, зазноба его бывшая, неожиданно-негаданно богатейшей хозяйкой стала – бери ее со всеми амбарами и завознями, со всей живностью, и не будет ни печали, ни заботы, навсегда оградишься от ухватистых лап нищеты. Не такой ли жизни добивался, не к этому ли устремлял все свои помыслы? Но легко сказать: бери... Не очень-то возьмешь. Вот если бы на месте Усти была Настюха с ее добротой, понятливостью, уважительностью... Устя – баба с характером, черт – не баба, если она успела почуять, что значит быть полновластной хозяйкой в таком большом доме, вожжи из рук ему не отдаст. Ходить в пристяжных у бабы – это ему не подходит. Да и примет ли его Устя, еще неизвестно. Не шибко, видать, сохла по нему, если вышла-таки за Агапку. Может, и вовсе не сохла, водила его за нос, забавлялась. Слова хорошие ему говорила, а себя сберегала для другого... Иное дело Настя. Вся на виду, без хитростей и лукавства, без бабьего своенравия. Зря в тот раз, после свадьбы, где его отвозили Пискуны, говорил с ней так. Конечно, она не захотела мириться, понятие о гордости тоже имеется.

Корнюха все больше склонялся к тому, что надо забыть об Усте. В конце концов, и у Настюхи теперь свой дом, свое хозяйство. Чего не хватает – наживут. Надо помириться и кончить волюнку.

И вот помирился. Уговаривать ее язык не повернулся, потом – видно же, ни к чему будут уговоры.

Холодно. Твердая, будто камень, скользкая, как лед, дорога под ногами, свет луны, все равно что свет свечей над покойником – ни тепла, ни радости. И некуда пойти, душу отогреть. С братом Максимкой разговор не тот получается. Грамотой набил голову, как нищий суму подаянием. Лежит дома с перебитой ногой, делать ему нечего, книжки, газеты почитывает, умные рассуждения о жизни ведет. Будто книжка научит, как тропу в мир торить и с шагом не сбиваться. У каждого своя жизнь, ее под книжечку не обстругаешь... Домой не тянет. Может быть, завернуть к Верке Евлашихе? Давно зазывала.

Но и к Верке идти не хотелось. Не он первый у нее тепла ищет... Остановился у Веркиного дома на краю улицы, посмотрел в поле, застуженное лунным светом, пустое, нерешительно стукнул в окно. Открыв дверь, Верка ойкнула, стянула у горла воротник исподней рубашки, прикрывая могучие груди.

– А я уже спать легла. Да это ничего. Проходи, проходи.

Она быстро оделась, забежала по избе, собирая на стол. Широкая в кости, шумная, сильная, она открыто и весело улыбалась ему, не замечая его насупленного взгляда. Верка овдовела лет пять назад, детей у нее не было, жила одна-одинешенька, вела небольшое хозяйство, приторговывала самогоном, принимала на посиделки парней и девок. Сплетен о Верке гуляло по деревне немало, ворота ее двора несколько раз дегтем мазали. Деготь она не соскабливала, так и оставались черные потеки, безмолвно рассказывая всем проезжающим и проходящим, что за этими воротами живет баба-грешница.

С тоской слушал Корнюха болтовню Верки, жалел, что зашел к ней: все, что он делает, не то, и здоровенная Верка с ее ждущими глазами – тоже не то, и нет ничего, о чем можно было бы сказать: вот оно, то самое. Раньше было, а теперь нет...

За столом, выпив залпом стакан обжигающей самогонки, Корнюха немного размяк, на душе чуточку оттепло.

– Почему не спросишь, зачем пришел?

– Сам скажешь, когда надо будет, – лукаво улыбнулась Верка.

– Ничего я тебе не скажу. На хрена ты принимаешь кого попало?

– Ну, милый, ты это брось. Кого попало я не принимаю. А тебе присоветую бабью брехню не слушать. Они, вертихвостки, языки обтрепали, меня обсуждая...

– Брешут бабы?

– Да тебе-то какое дело? Ты ешь побольше, говори поменьше. – Верка налила еще стакан, придвинулась ближе. – Хочешь, скажу тебе правду? Не было и половины того, что болтают.

– А все ж таки безгрешная?

– Господи, конечно не святая! Пять лет одна живу. Муж мне нужен, их в сельсовете не распределяют, самой искать надо. Надоело мне одной. Бабы, которые обо мне треплют языками, того не понимают. Благочестивые дуры! Да там что? Смотришь, иная курица ошипанная, ей муж в тягость, не в радость. – Верка посмеивалась, играла ломкими бровями, и Корнюха не понимал, шутит она или всерьез говорит, а когда выпил второй стакан, ему стало безразлично, как она говорит и что говорит.

– Вот что, Верка... Ночевать у тебя буду. Тепло тут. А куда меня положишь, это уж твое дело. Могу спать и на полу, и на твоей кровати.

Утром Корнюха проснулся поздно. Верка возилась в кути. В доме вкусно пахло жареным мясом и пригорелым хлебом, было тепло, вставать Корнюхе совсем не хотелось. Когда Верка подходила к кровати, он замуривал глаза, сопел носом. Она заботливо поправляла на нем овчинное, крытое сатином одеяло, отходила. Хорошая она баба, и постель у нее хорошая, а все не то, не то. И неудобно перед ней становится. Пришел, остался, кажется, какую-то надежду дал... Надо ей сказать и сматывать удочки.

Верка его растормошила, смеясь, сказала:

– Эх ты, соня! А я уже успела убраться и блинов испечь.

Корнюха начал было говорить, что есть ему не хочется, болит голова и нужно идти домой, но Верка понимающе подмигнула, достала из шкафа бутылку.

– Вот, поправляйся.

За столом она ему так старалась угодить, что обезоружила Корнюху, он не мог сказать, что нужно было, снова приналег на самогон.

Прожил он у нее несколько дней. И почти все время был пьян. Но однажды, когда сели ужинать, на столе не оказалось самогонки. Верка налила ему чая, сказала:

– Надо тебе, Корнюшка, домой идти.

– А что там, дома?

– Там не знаю, а тут у нас, вижу, склейки нету. Бабье сердце, Корнюшка, не обманешь.

Он промолчал: возразить было нечего.

За окном сгустились сумерки, постукивал в ставень ветер. Он допил чай, оделся, обнял Верку, поцеловал в губы.

– Знаешь, может быть, я к тебе еще приду. По-другому...

– Навряд ли...

За воротами Корнюха остановился, снял шапку, поставил холодному ветру голову. Череп ломило от боли, в сердце была тошнотная тягость, такая тягость, что сам себя вывернул бы наизнанку. И еще больше, чем три дня назад, не хотелось возвращаться домой, отвечать на неизбежные вопросы Максима – где был, что делал? Брехать нет желания, а скажи правду, брат начнет изводить шутками-прибаутками, ловко умеет делать это, стервец.

Но ему вроде как повезло. Дома целое собрание: Игнат (давно ли приехал?), Лучка Богомазов, Стишка Белозеров и Бато Чимитцыренов. На Корнюху внимания не обратили, спорят

мужики, как всегда, Батоха трубку сосет, в избе дыму – дыхнуть нечем, а Игнат ничего, терпит: дружок курит, его, как братьев, из дому не выставишь. Сидит Игнат у очага, бороду на палец накручивает, слушает всех со вниманием, шевелит морщины на лбу – должно, соображает, что к чему. Больше всех, конечно, Стишка говорит. Ему на месте не сидится, машет долговязый руками, вертится туда-сюда, вспотел весь, оттопыренные уши красные, худощавое лицо блестит от пота. Все на Максима напирает:

– Ты в данных вопросах не кумекаешь! И не говори!

Максим сидит на кровати, вытянув закутанную в бинты ногу, бледный рядом с обветренными мужиками, худой, большеглазый, похожий на подростка, задиристый.

– Сам ты больно много понимаешь! – огрызается он.

– Понимаю, не бойсь!

Максим усмехается.

– Понимаю, сказал пьяный мужик, укладываясь спать под забором, отчего под бок дует: баба опять дверь не закрыла. Ни черта ты не понимаешь. Расскажи, Батоха, как дело было.

– Ну, была коммуна. Хорошо живем. Умных людей слушаем, вперед глядим – лучше жизнь видим. Мелкий скот продать, племенной купить – молока много, дохода много, деньги есть. Так делаем. Газета пишет: хорошо. Начальство хвалит: хорошо. Меня в город на учеба отправляет. Начальство вперед глядит – там коммуны нет, колхоз есть. Бросай коммуна, делай колхоз, живи своим домом, держи свою корову. Тебе племенную, мне племенную – все. Колхоз есть, в колхозном дворе скот такой. – Батоха согнул крючком палец. – Я беги из город. Народ собираю, ругаю, коров обратно отбираю. Кто сдает, кто нет. Начальство идет, меня ругает. Раз колхозник, корова надо. Район еду. Там опять: отдай корова. Тьфу такой колхоз! – Батоха пососал угасшую трубку, рубанул огнем по кремню, высек целый сноп искр, прикурил. – В город ехать буду, жалобить буду: не дам корова.

– Поезжай, Бато, поезжай, – сказал Максим. – Крутит что-то начальство.

– Ничего не крутит, – возразил Стишка. – Теперь вся политика на колхоз повернута. И ты делай, Бато Чимитцыренович, что тебе сказали, не прошибеешь.

– Зачем он так будет делать, если это делу во вред? – закипятился Максим. – Что ты его учишь?

– Как это, во вред? – Стишкины брови полезли на лоб. – Начальство, партией поставленное, дурнее нас с тобой? Так?

– Выходит, дурнее, раз помогло растащить стадо, которому, может, цены нет.

– Верно, верно! – подтвердил Бато. – Зови нас коммуна, зови колхоз, но туда-сюда не виляй, новый жизнь делать не мешай.

– Плохие ваши рассуждения! – осуждающе покачал головой Стишка. – Дай нам волю, распусти, побегим кто куда.

– Мы что, бараны? – спросил Максим.

– Не бараны, но пастух нам нужен.

– Что-то ты не так говоришь, парень, – осторожно заметил Лучка. – Пастух не ведет, он завсегда гонит.

– Ну и что? В том-то и горе, что даже к новой светлой жизни нашего брата гнать надо. Сам не шибко пойдет. Будет вплоть до коммунизма затылок царапать, приглядываться.

– Кому больше нужна светлая жизнь – начальству или мужику? – с усмешкой спросил Максим.

– Всем нужна...

– Ну, с этим я согласный. А раз так, строить надо сообща, думать о ней сообща. А ты другого хочешь – перстом указывать, где что делать, и бичом пощелкивать для острастки, чтобы люди живее двигались. Давно ты твердишь об этом, Стефан свет Иванович, еще при покойнике Лазаре слышал твою побаску.

– Это не побаска. Это мой линия. И я ни перед чем не остановлюсь, чтобы изничтожить все старое, ненавистное мне сызмальства.

Корнюха разулся, залез на полати, лег на жесткий потник. Уснуть бы. Но разве уснешь, если звонкодырый Стиха Клохтун всю разошелся. Все разговоры, разговоры... А для чего? Какая разница для Максимки, для Стишки, останутся племенные телки по домам или будут в общем дворе? Да и забыли уже Батохиных телок, толкуют, где место начальства, где место мужика. Дураки! Станет у них спрашивать начальство, когда и куда поворачивать. Толковали бы лучше о том, как свою жизнь поставить, чтобы она от разных поворотов не кособочилась. Эх, Пискуны, проклятые Пискуны, перепахали все задумки, как свиньи огород. Сейчас бы и дом свой был, и корова во дворе. Корова, она, видишь, не лишняя будет и при колхозе. А тут ни коровы, ни дома, ни бабы – гол, как обкатанный речной камень. Нет, хватит болтаться, заливать душу самогоном. Надо идти к Усте. Зажать ее, змею зеленоглазую, чтобы и пикнуть не смела. Не из-за нее ли всего лишился? Не из-за нее ли столько душевных мук принял? Пусть попробует уросить, чужим добром козырять, куражиться над ним, кругом обманутым. Пусть только попробует!

## XXIII

Медленнее, чем лед на мартовском солнце, таяло горе Насти; помаленьку притерпелась к одиночеству, ночным страхам, научилась управляться с хозяйством, смирилась со своей обидной долей ни бабы, ни девки; лишь к людскому злословию не могла привыкнуть, падкие на пересуды сплетницы обтрепали сарафаны, разнося по домам слухи, один чуднее другого, молва о ней расцветала едким цветом выдумок и догадок; беззубые ревнители старины скоблили ее гневными взглядами – не смягчило семейщину и то, что у Насти столько бед сразу. Тяжело жилось ей. Порой даже задумывалась: стоит ли жить так? Но эти мысли приходили в голову все реже. Мало-помалу жизнь налаживалась. Стишка Белозеров, занявший место Лазаря, настойчиво навязывался с сельсоветской помощью, ей была приятна эта забота, но она не хотела, чтобы помогали чужие люди да еще по принуждению председателя Совета, отказывалась, а Стишка не понимал, чего она церемонится, допытывался:

– Так-таки ничего и не нужно?

– Ничего.

– Может, стесняешься? Зря. Политический момент, значит? Советская власть своих в беде никогда не оставит.

– Спасибо, но мне ничего не нужно.

– А ты подумай. Ради геройски погибшего Лазаря Изотыча... Душевно жалею его я, Настя. Расплатился жизнью за свою мягкость. Притиснуть надо было сволочню, чтобы кровь из носа брызнула, а он – доказательства давай. Какие доказательства, когда от Пискуна, будто от гулевого кобеля псиной, на версту чужим духом воняло! Не-ет, с такими чикаться нечего.

Его неистовая ненависть к деревенским оглодам словно подстегивала Настю, после разговора с ним она проходила по улице, не пряча глаз. Пусть думают и говорят, что хотят.

Изредка, приезжая с мельницы, навещался Игнат. Долго он не засиживался, спросит о том о сем, уйдет. Как-то раз в колхоз посоветовал записаться.

– Колхоз я очень одобряю, – неторопливо говорил он. – На мельнице у меня житье тихое, обо всем передумал. Станут люди артельно работать, притрутся друг к дружке, и меньше будет горлохвата, зависти. – И с нажимом заканчивал: – Очень верю я в это.

А Насте казалось: в своей вере он убеждает не столько ее, сколько самого себя. Она давно заметила, что, по-прежнему рассудительный, говорит он иначе, чем раньше. Бывало, рассуждал безоглядно, а сейчас вроде как прислушивается к своим словам и решить не может – так или не так? Чудилось ей, что на душе у Игната не так ладно, как он старается показать; вспом-

нился давний разговор на огороде, и она почувствовала себя виноватой перед ним; о прошлом совсем не хотелось ни вспоминать, ни думать, однако чувство невольной вины все время жило в ней.

С Игнатом было легко, хотя он и не старался ободрять, утешать ее, просто он все понимал, и она об этом знала и ценила его ненавязчивую доброжелательность. Если он долго не приезжал, она ждала его, ей было и хорошо, что есть кого ждать, и боязно, что может прийти время, когда Игнат откажется от нее. Пуще всего она опасалась длинноязыких сплетниц: привяжут его к ней грязной паутиной брехни, такого наплетут-навыдумывают, что Игнат принужден будет сторониться. Однажды она прямо сказала ему:

– Вот ты заходишь ко мне, а того не знаешь, что подумают о тебе люди.

Он удивленно посмотрел на нее:

– А что они... люди?

– Очернят, оболгут...

– Ну и что? Мне все равно, что обо мне думают. Главное не это, а то, что я сам о себе думаю. – Помолчал. – И о тебе тоже... Я тебя, Настюха, ни в какой беде не оставляю.

– Не надо, Игнат, никому таких посулов делать... – Она поняла, что напрасно так сказала. – Я к тому, что всему перемены бывают.

– Я говорю о том, чему перемены не будет никогда.

Он улыбнулся, так что его слова можно было принять и за шутку, но она сразу поверила – правда, и печальная радость сдавила ей горло.

Проводила его за ворота, смотрела, как он шагает через дорогу к своему дому, и думала, что на всем белом свете у нее нет человека, такого же понятного ей и так же понимающего, как Игнат, и что жизнь была бы совсем иной, если бы у всех людей, так же как у него, в душе не убывала доброта.

День выдался солнечный. На сопках за селом ослепительным светом пылали снега, по крутому склону Харун-горы катались на санках ребятишки. Они падали вниз, как ястребки со сложенными крыльями, исчезали в зарослях тальника, потом медленно взбирались вверх и снова неслись по сверкающему снегу. Ей тоже вдруг захотелось промчаться по круче на легких санках, почувствовать, как от стремительно нарастающей скорости перехватывает дыхание и останавливается сердце.

По улице в шапке-кубанке, сдвинутой на одно ухо, торопливо шел Стишка Белозеров. Еще издали он помахал рукой Насте.

– Ну как, надумала?

– Это о чем ты?

– О помощи. Дровишек привезти, муки смолоть... Все сделать для полного равновесия жизни.

– Да ничего мне не надо! – Настойчивость Стишки показалась ей смешной, она лукаво улыбнулась. – Чего нет, так это мужика. Проворонила.

Бойкий, настырный Стишка хмыкнул, замялся. На все другие случаи у него, кажется, были заранее припасены разные слова, а тут не сразу нашел что сказать, и в эту короткую минуту замешательства перестал он быть для Насти «политичным человеком», а стал просто Стишкой, соседским парнем; она видела, что полушубок на нем старый, с плешивым воротником, унты потрепанные, штаны из толстой далембы зачинены на коленях; теплея сердцем, засмеялась, сказала:

– Шучу я... А ты лучше другими делами занимайся. Дел-то много, должно?

– Хватает. Вот Павла Рымарева надо бы на жительство определить...

– Это кто такой?

– Ты его знаешь. В районе работал, сюда часто приезжал. Высокий такой, с усиками.

– Знаю, бывал у нас с Лазарем.

– По доброй воле к нам на жительство переезжает. Куда попало его не толкнешь. Знаешь нашу дурь семейскую – вздумают из отдельной посуды кормить, начнут мелкие обиды чинить. А он нам шибко нужен. Председатель колхоза из него выйдет хороший.

– Определи его к таким, которые не обидают.

– А куда? У Абросима семья большая. К Назарычам – самим тесно. Лучке Богомазову я не очень верю. К себе хотел, но... жениться собираюсь.

– На ком женишься?

– Феньку Федора Петровича сосватал.

– Хорошая девка, – одобрила Настя.

– Ничего, подходящая. Приходи на свадьбу.

– Спасибо. – Настя помолчала, предложила: – А пусть он селится ко мне, этот Рымарев. Места хватит.

– К тебе? – Стишка задумался. – К тебе, говоришь? Такое решение вопроса подходит. А то я хотел его к Верке Евлашихе вселить. Но боюсь, захомутает мужика. Характеру он податливого... Значит, договорились?

Дня через три Стишка привез Павла Рымарева, помог ему внести чемодан и узел с постелью.

Рымарев мало беспокоил Настю. Он вставал рано и на целый день уходил из дому. Вечером, поужинав, допоздна сидел за столом, что-то читал, писал, щелкал на счетах. Настя ворочалась на своей кровати за перегородкой, зевала от скуки. Несколько раз она пыталась втянуть постояльца в разговор, но он отвечал очень коротко, односложно.

– Павел Александрыч, а ты почему не женатый?

– Был женатый. Умерла жена.

– Вот горюшко-то! – вздохнула Настя. – А дети остались?

– Сын.

– А где он, сиротиночка?

– Живет у ее родителей.

– А почему вы из района подались?

– Да так...

Видно было, что отвечает он только из вежливости. Чудной какой-то. А может, и не чудной, может, ему не до разговоров. И чтобы не досаждать, Настя старалась молчать.

От всех других людей, которых Настя знала, Рымарев отличался не только неразговорчивостью. Собравшись как-то стирать, она хотела заодно выстирать и его рубахи, но Рымарев воспротивился этому, а потом сам, засучив рукава, полоскался целый вечер в корыте. Насте было смешно.

– Вот бы мне такого мужика бог послал!.. Ты и при бабе сам стирался?

– Нет. Жена – другое дело.

Завтракал и ужинал он дома. Настя готовила ему то же, что и себе. Ел он мало, аккуратно, подбирая со стола крошки хлеба. А встав из-за стола, доставал из пиджака записную книжку, делал в ней какие-то отметки. Для чего эти пометки, Настя скоро узнала. Рымарев как-то полистал книжечку, пощелкал на счетах и протянул ей деньги, пояснив, что это за столько-то литров молока, за столько-то яиц... Настя вся вспыхнула, спрятала руки за спину.

– Я же не купчиха, не торгую!..

Рымарев положил деньги на край стола.

– Вы не торгуете, – подтвердил он. – Но не могу же я даром...

Позднее, подумав, Настя решила, что Павел Александрович, конечно, прав. Не станет уважающий себя человек жить на чужих хлебах. Но зачем каждое яичко записывать в книжечку – вот что непонятно! И когда после ужина он, как всегда, взялся за книжечку, она попросила:

– Не пиши, ради бога, ладно? Нехорошо как-то...

– Нехорошо, Анастасия Изотовна, должником быть. Самое последнее дело, когда человек кому-то должен. Чтобы чувствовать себя по-настоящему свободным, надо не быть в долгу.

Настя махнула на него рукой: пусть живет как хочет. Человек он не вредный, тихий, не пьющий – правда, не шибко для нее и полезный. Как и раньше, самой приходится все делать, дров и то не расколет. Некогда ему, по уши увяз в работе. Понемногу она вытягивала из него все, что ее интересовало. Из района он уехал потому, что работать там становилось с каждым годом труднее. Свое начальство жмет, городское жмет, мотайся по селам, не зная ни сна, ни отдыха, да еще того и гляди на пулю напорешься. Просился в свою деревню. Не отпустили. Направили сюда. Народ тут тяжелый, партийных мало. Но, как он убеждается, после восстания все тихо, жить можно неплохо, не хуже, чем в своей родной деревне на Хилке.

– Чего же не жить! – сказала Настя. – Хорошо можно жить. Только жениться тебе надо.

– Надо бы... – согласился он. – Но кто за меня пойдет, тем более у вас...

– Что ты! Любая твоя будет, только свистни. Теперь не старое время.

– Время новое, но привычки, обычаи... Ну вот вы, только честно, пошли бы за меня?

– Я? А то нет! Да я за кого хочешь пойду ради новой жизни, был бы не кривой да не горбатый. А ты из себя видный, начальство...

– Зря вы смеетесь. – Он покачал головой и пристально, как-то по-новому посмотрел на нее.

Потом она не однажды ловила на себе его внимательный взгляд и заметила, что он охотнее, чем прежде, разговаривает с ней. Оказалось, что он вовсе не молчаливый, разговорится – не остановишь. Из района он стал ей привозить небольшие подарки: то флакон одеколона, то платочек, то нитку бус. Она понимала, что это все значит, и на сердце становилось беспокойно. Пробовала не брать его подарки, прикидывалась бестолковой, глупой деревенщиной.

– Одеколон? Мне? – делая большие глаза, спрашивала она. – А зачем? Пахнет хорошо. Так меня нюхает один Васька-кабан, когда корм выношу.

В другой раз говорила, разворачивая платок:

– Ой, мамонька, до чего красивый! А сколько же он стоит? Дороговато, дороговато. Просто так отдаешь? Нет, ты уж сделай, ради бога, пометку в своей книжечке, исчисли за него молоко или яйца.

Рымарев, конечно, понимал, что она валяет дурака.

Однажды они чуть было не поссорились. Рымарев спросил, почему она не ходит ни на вечерки, ни на гулянья, сидит дома, как старушка. По чуть заметному напряжению в голосе Настя поняла, что спрашивает Рымарев неспроста, должно быть, кто-то успел рассказать, кто есть его хозяйка. Так оно и было. Когда она ответила, что ей не до вечеров и гуляний, Павел Александрович проговорил:

– Да, конечно... Сочувствую. Подлость и обман...

– Какой обман? – перебила его Настя.

– Говорят...

– Говорят, кур доят, а их щупают! Не твое это дело!

Обескураженный ее резкостью, он пожал плечами, замолчал. И больше ни разу не пытался говорить с ней об этом, но их отношения в чем-то неуловимо изменились. Рымарев был по-прежнему вежлив, суховато-строг, однако Настя почему-то стала его побаиваться, не могла вечером заснуть, прислушивалась к его покашливанию, к шагам, вздрагивала, когда шаги приближались к заборке, и только когда он укладывался на свою кровать, она успокаивалась.

В начале марта Стишка справлял свадьбу. Пригласил он на вечер и Рымарева с Настей. Настя не пошла. Не пошла потому лишь, что ее очень уж звал Павел Александрович. Вернулся он поздно, слегка покачиваясь на ногах, веселый и смешной. Отложив дверь, Настя сразу же

убежала за перегородку, нырнула под одеяло, затаилась, будто белка в гнезде, а Рымарев долго раздевался, что-то бормотал, насвистывал и шумно вздыхал. Потом позвал ее:

– Анастасия Изотовна.

Она промолчала.

– Хочу поговорить с вами. Вы слышите?

Настя снова не отозвалась, только крепче стиснула одеяло у подбородка. Из окна падал лунный свет, освещая угол печки, крашенные доски заборки, занавеску на двери из ситца «в огурчик». Занавеска колыхнулась, съехала к одному косяку, Рымарев остановился в дверях.

– Очень нужно поговорить, Анастасия Изотовна. – Голос его упал до шепота.

– Какие могут быть сейчас разговоры? Спи, поговорим завтра.

– Нет, сейчас, именно сейчас! – Перебирая руками по козырьку кровати, он приблизился к ней, сел на край постели.

Настя отползла к изголовью, вся сжалась в комок:

– Уйди отсюда! Уйди, идол!

– Анастасия Изотовна, что вы!.. – Его руки шуршали, перебирая складки одеяла, сам он потихоньку придвигался к ней, до тех пор придвигался, пока согнутые Настины ноги не уперлись в бок. Он хотел их отодвинуть в сторону, но Настя, упершись руками в изголовье, со всей силой толкнула его. Грохнувшись головой об опечек, он уронил ухваты, сковородники, опрокинул ведро. Настя встала в рост на постели, пригрозила:

– Только шагни ко мне – черепушку расколю!

Сдерживая стон, Рымарев поднялся, сказал с жалобой в голосе:

– Как вам не стыдно! Я же по-честному...

– Дуй отсюда, не то худо будет!

А утром он не встал как обычно, охал, растирал пальцами виски. На лбу у него багровела косая ссадина.

– Простите, пожалуйста! – сказал он Насте. – Но честное слово, у меня не было плохих намерений. С чего вы?..

– В другой раз знать будете.

– О важном для вас и для меня хотел сказать...

– Не будет у нас важных разговоров.

– Почему, Анастасия Изотовна?

– Потому что потому...

– Ну хорошо... – Рымарев помолчал, потрогал ссадину. – Как теперь людям покажусь?

– А ты не показывайся. Лежи, пока не зарастет. А зарастет, будь добреньким, поищи себе другое место для жительства.

– Да почему, почему?

– Опять почему. Жених у меня ревнивый.

– Жених! – удивился он и, помедлив, уныло согласился: – Да, тогда, конечно... Но как я все объясню Стефану Ивановичу? Как стану просить новую квартиру? Сразу поймут, что у нас что-то вышло.

– Кабы вышло, не пришлось бы просить, – засмеялась Настя. – Да ты не горюй. Найду я тебе место, да такое, век будешь благодарить.

В тот же день она сходила к Верке Евлашихе, сказала, что за постояльцем ей ходить некогда, а мужик он не вредный, хочется, чтобы жил по-человечески. У кого, как не у нее, Верки, ему будет жизнь хорошая?

– Что ты его нахваливаешь, как цыган мерина. Пусть идет, – сказала она.

И снова Настя осталась одна.

Временами жизнь казалось ей до того нудной и тоскливой, что жалела – зря выставила Павла Александровича: хоть было с кем разговаривать. Теперь порой за целый день слова вслух



не скажет. От подруг отдалилась, неинтересно стало с ними: одно на уме – женихи да сарафаны новые. К Татьянке и Максиму не пойдешь, потому что там Корнюха... Слух есть, опять он делает круги возле бывшей своей ухажерки – дай бог, чтобы у них сладилось, уйдет Корнюха жить на другой конец деревни, перестанет мельтешить перед глазами, и тогда она будет вечерами ходить к Татьяне и Максиму. Игнат у нее последнее время не бывает, как поселился Рымарев, так ни разу не зашел. Что ж это он? Может быть, ему недосуг? Татьянка сказывала, мельницу ремонтирует. Конечно, ему некогда с ней лясы точить. А может, и что-то другое...

Подумав так, Настя встревожилась, ей захотелось немедленно поговорить с Игнатом. Утром, накормив скотину, заседлала коня и поехала на мельницу. За селом таяли сугробы, мокрый снег жидко хлюпал под копытами коня, а в лесу солнце еще не пробило зеленую шубу кроны, и снег, припорошенный рыжими иглами, чешуйками коры, не таял, его дырявили капли, падавшие с веток.

У мельницы был навален ошкуренный лес. Игнат кантовал бревно. Топор, взлетая над его головой, ослепительно вспыхивал, падал вниз и впивался в бок бревна, отваливая широкую ленту щепы. Увидев Настю, Игнат шагнул навстречу, взялся за повод.

– Что-нибудь случилось?

– Да нет. А что?

– Вижу, верхом гонишь... – Он снял шапку, вытер ею потное лицо, ладонью убрал со лба влажные пряди давно не стриженных волос. – Ну, пойдем в избу.

В зимовье было сумрачно, на потолке темнела копоть, в углах провисали нити паутины, тяжелые от пыли.

– Господи, как ты живешь тут? С тоски сдохнуть можно!

– Живу помаленьку.

– Худо, ох худо живешь. Неси дровишек, воды...

Настя все перемыла, выскоблила, разыскав в подполье известь, оставленную еще Петрушкой, побелила печку и стены. Игнат пробовал ей помогать, но толку от его помощи было мало – ушел тесать бревна. Убравшись, Настя сготовила обед, позвала его. Он обвел взглядом зимовье.

– Чудеса!.. Совсем не то зимовье.

За столом, разливая чай в чашки, выдолбленные из наростов березы, Настя сказала:

– Постояльца-то своего я выпроводила.

– Это почему же? Мужик он, кажись, хороший.

– Ничего мужик, один изъян – бабы у него нет.

– Стиха сказывал, оттого-то и поселил его к тебе.

– Дурак он, твой Стиха... – спокойно сказала Настя. – Сводил бы кого другого. А ты что не заходил – мешать не хотел?

– Как тебе сказать... Все мы люди, и жить каждому как-то надо.

– Ага, жить как-то надо, – повторила Настя и низко наклонилась над чашкой с чаем. – Тебе вот тут жить совсем не стоит. Перебирался бы в деревню.

– Переберусь...

– Когда?

– Когда ты меня позовешь.

Она вскинула на него глаза и сразу же опустила. Игнат говорил с усмешкой, но она видела – всерьез.

– Не быть этому, Игнат. Я бы рада позвать тебя хоть сегодня. Честно, как перед Господом Богом, говорю. Поумнела я, научилась... Однако житья у нас не будет. Никогда тебе не переступить через то, что было у меня.

– Не переступить... – Он растянул воротник рубашки, повел головой, будто освобождаясь от тесноты. – Эх, Настюха... Когда понятие о жизни есть, переступишь и не через такое.

Расскажу тебе как-нибудь. До сих пор сердце мается, но совесть моя чистая... А этот наш разговор давай приглушим до поры. Не обо мне речь. Ты пожить, оглядеться должна, чтобы по слабости женской не промахнуться.

– Спасибо тебе, Игнат.

Домой Настя возвращалась вечером. Солнце закатилось за гору, тень укрыла мельницу, зимовье, молодые сосенки за зимовьем, легла на гребень перевала, но не закрыла его совсем, сосны там стояли в тени лишь по пояс, зеленые шапки ветвей еще купались в теплом желтом свете. Настя оглянулась, помахала рукой Игнату и быстро погнала коня навстречу полевому ветру, сулящему близкую весну.

## XXIV

В доме уставщика теперь колхозная контора (Ферапонта осудили за участие в восстании, а семью его сослали), голова всему в конторе Павел Рымарев, но, надо сказать, Стишка Белозеров не шибко дает ему главенствовать, сам, суетной, неумейный, норовит в любое дело влезть и, если что не так, из себя выходит, ругается по-страшному, всех крестителей-святителей собирает, от этого за ним все определеннее закрепляется новое прозвище – Задурей, отодвигая старое, от родителя унаследованное, – Клохтун. Ох уже эти острословы деревенские! Прилепят к твоему имени довесок – до гробовой доски не отлепишь, мало того, детям вместе с фамилией передашь. А невдомек острословам, что любой на Стишкином месте быстро сбесится – тугой народ в Тайшихе, ух тугой! Балаболить про колхоз на завалинке – пожалуйста, все готовы, записываться – обожди, брат, колхоз дело хорошее, но может быть, что без него и лучше. И ждут, им что, не припекает. А в колхозе двенадцать домохозяев. И Стишке в районе шею намылят.

Прибежит он к Максиму, сядет, еле отдышится, спросит:

– Ну, долго еще лежать будешь?

Максиму жаль парня. Не по плечу ему воз, который тяжел был и для Лазаря Изотыча, помогать бы надо, а какой из него помощник, если без костылей – ни шагу.

Он только то и сделал, что уговорил Лучку написать заявление в колхоз. Лука с недавних пор – бог и царь в доме тестя. Вскоре после раздела тесть поехал в гости к родичам в соседнюю деревню. Где-то, видать, изрядно перебрал и, возвращаясь ночью домой, свалился с саней в сугроб, замерз. Похоронили его. А тут Еленка разрешилась и обрадовала Лучку сыном. Пришлось возвращаться в дом тестя. Теща сразу же устранилась от хозяйства, возилась с внуком, стряпала; на зятя своего не шумела, как прежде, кажись, поняла, старая карга, что лучше беречь себя, чем свое добро, старик всю жизнь к себе прискробал, а с собой на косогор взял всего-то ничего – четыре аршина белой бязи.

Лучка, поскольку его жизнь уладилась, в колхоз уж не очень рвался. Сказал Максиму:

– Черт его знает, колхоз этот. Там, поди, не дадут делом, которое тебе в радость, заняться. Стишка загнет перстом показывать – делай так, делай этак, делай тут, делай там... А я мыслю хозяйство тестево уполовинить, чтобы справляться с ним без натуги и оставлять время для всякой огородины. От Мишки-китайца, от агронома районного запаса всякими семенами. Теперь меня от этого дела никто не отговорит.

Максим его долго убеждал, что таким делом заниматься с пользой можно только в колхозе. Там ему мешать никто не будет, а уж помочь – все помогут. Если какой овощ к земле приладит – польза всем.

Лучка, подумав, сказал:

– Давай напишу заявление. Но ты уж будь добрым, втолкуй Задурею своему, что если меня зачнут гонять туда-сюда и от дела моего отлучать – с колхозом вмиг распрощаюсь.

– Все будет хорошо, вот увидишь, – пообещал Максим и, как оказалось, опрометчиво.

Разговор со Стишкой вышел совсем не таким, какого он ждал. Прочитав заявление, Белозеров свернул его, возвратил Максиму:

– На, спрячь подальше.

– Как это понимать?

– Просто: кулакам в колхоз ход наглухо закрыт.

– Ты думай, когда говоришь, ладно? Нашел кулака! Почему, черт вас побери, все время его отшпатываете? Чем он провинился?

– Не будет лезть в кулацкий дом...

– Не лез он в дом, не лез! Но раз так вышло, зачем его за горло брать? Зачем, если он хозяйство наравне со всеми в общий двор отдает? Если он с нами работать хочет?

– Мало ты грамотный в политике, Максим! – хмуро бросил Стишка. – Я о тебе думал лучше. А ты интересы шурина ставишь выше классовых. Просто обидно!

– Брось молоть чепуху! – рассердился Максим.

– Это не чепуха. Кулак нам не родня – запомни. Он вроде бы льнет к колхозу. Не верь. Увиливает от обложения. Активничает – насторожись. Хочет пролезть в руководящее звено. Хвалит нас – бей тревогу. Не иначе как занес нож, чтобы резануть по главным жилам социализма в деревне.

– И здорово же ты насобачился газеты пересказывать! – с язвительным восхищением сказал Максим.

– А что, газеты плохому учат? Если бы наш Лазарь Изотыч не добротворствовал, а выди-рал кулачье, как худую траву с поля... Я его ошибку не повторю, я никому спуска не дам! – Стишкины глаза налились холодком. – Для меня нет ни свата ни брата, есть люди, разделенные на две части – мы и они.

– Я с тобой согласен – есть мы и они. Но чем больше нас, тем мы сильнее – так или не так? Это одно дело. Второе дело – пусть люди, колхозники, сами решают, кого принимать, кого нет. Ты им скажешь свое, я – свое. Как решат, так тому и быть.

– Ты что, спятил?! – изумился Стишка. – При беспартийном народе потянем в разные стороны!.. Мы во всем должны заодно, мы свои друг другу...

– Свои... – вздохнул Максим. – Не хочешь перед колхозниками, давай на ячейке погово-рим.

Максим схитрил: в ячейке четверо. Абросим Кравцов на Стишкину сторону не станет. Павел Рымарев зачнет сеять туда-сюда, чтобы никого не обидеть, и Стиха останется один.

Расчет у Максима был правильный. Сколько ни крутился, ни стучал по столу кулаком Стишка, доводы его расшибли, заставили передать заявление Лучки на колхозное собрание, а там все проголосовали «за». Вместе со всеми с большой неохотой поднял руку и Стишка.

Незаметно подошло время пахоты.

В день выезда на поля в общем дворе, тесном от телег, с раннего утра на всю Тайшиху шум: ржут кони, спорят мужики, распределяя сбрую, кричит Павел Рымарев, стараясь навести порядок, но его никто не слушает, все идет своим чередом – бестолково, весело... Уже и солнце на целую ладонь оторвалось от края земли, а шум все не затихал, и кони были не запряжены.

Максим стоял в стороне, опираясь на костыль, молча смотрел на неразбериху первого дня, на измученного криком Павла Рымарева. В первую минуту он тоже, как и Рымарев, про-бовал остановить шумную никчемную толкотню, но быстро, понял, что ничего не получится, замолчал.

Откуда-то прискакал на рыжем жеребце Стишка Белозеров, с ходу врезался в скопище телег, лошадей, мужиков, свистнул, ткнул ногой в спину Петрухи Трубы, сдернул шапку с Тараски Акинфеева, что-то сказал Игнату и Абросиму, и вот наступила тишина.

– Тарас Акинфеевич, где твоя телега?

– А вон.

- Стой возле нее. Где упряжь?
- Хомут на месте. А чембур и седелку Петро уволок к своей телеге.
- Отдай! – приказал Стишка Петрухе Трубе.

Через пять минут во дворе стало просторнее, мужики, посмеиваясь, поругиваясь, впрягали лошадей в телеги, выезжали на улицу и там поджидали остальных. А Стишка снова куда-то ускакал.

Максим подошел к телеге Лучки Богомазова:

– Видал, каков Стиха? Молодец, черт его дери!

– Молодец, – согласился Лучка, подвинулся, давая место Максиму. – Садись. Может быть, ты и в поле съездишь? Поглядишь. Первая борозда как-никак...

Мимо промчался Стишка. На плече у него алел свернутый флаг. У передней подводы он развернул флаг, помог Павлу Рымареву укрепить его на стойке телеги и, когда полотнище всплеснулось на слабом ветру, махнул рукой: «Трогай!»

Со скрипом и звоном, то растягиваясь, то сжимаясь, обоз покатился мимо домов, следом, сминая хвост пыли, бежали ребятишки, сбоку гарцевал, горячил коня Стишка, смеялся и, клонясь с седла, спрашивал:

– Здорово, а?

– Здорово! – сказал Максим.

Стишка выпрямился, горделиво посмотрел на флаг.

– Я сдогадался. Раз выходим на путь социализма, значит все должно быть в полной форме.

Выехали в поле. Запахло горькой полынью. Пыль, поднятая колесами, копытами лошадей, тут же сваливалась к обочине, оседала на сухие прошлогодние травы. Солнце пригрело, и в теплом воздухе задрожали, поплыли вершины сопки. Там, на серых склонах, чернели заплаты свежей пахоты: единоличники не мешкали. Они на обоз под красным флагом долго не засматривались: весеннее время – дорогое время.

Прикрывая глаза ладонью, Максим смотрел на квадратики наделов. Где-то там пашет брат Корнюха. Для Усти, вдовы молодого Пискуна, пашет. Не говорит, нанялся к ней или жениться думает. Про колхоз слышать не хочет...

– Ты говорил насчет огорода? – спросил Лучка.

– Нет еще. Но поговорю, не забуду.

Лука закусил ус, помял его на зубах, вытолкнул:

– Я что-то спокойным стал. Наверно, все получится, что задумал.

– Конечно получится, – подтвердил Максим, но не очень уверенно. Он давно намеревался рассказать шуруину, какой сыр-бор разжег Стишка из-за его заявления, но сейчас решил, что говорить об этом не надо.

Отаборились недалеко от пустой, заброшенной заимки, перепрягли коней в плуги, выстроились друг за другом на краю ровного, в желтой щетине жнивья поля. Стишка долго говорил речь: о светлом пути социализма, о заговоре мировой буржуазии, о неудержимом, как весенний поток, стремлении бедноты к лучезарному будущему.

Налетел ошалелый ветер-низовик, рванул полотнище флага, завертел в разные стороны, то скручивая, то разворачивая с громким, похожим на выстрел звуком, и лошади испуганно запрядали ушами. Мужики отвернули головы от ветра, и Стишка закончил речь, глядя им в лохматые затылки.

– А кто первую борозду поведет? – спросил Абросим Кравцов у Павла Рымарева.

– Мое мнение: Стефан Иванович. Он возглавляет власть, следовательно...

– Конечно, можно и мне... – сказал Стишка.

Абросим Кравцов крикнул, накинул на глаза навес бровей, сутулясь, стал за свой плуг.

Стишка взял вожжи из рук Игната, тронул лошадей, и острый сошник мягко, бесшумно впился в суглинок, на ладонь отвала наплыл пласт простеженной корнями почвы, перевернулся, лег на жнивье, сухо потрескивая, а ветер вскудрявил, мгновенно унес легкую пыль. Подстегнутые кнутом, лошади ровно пошли по желтому полю. Стишка оглянулся, с пастушеским шиком хлопнул бичом, вспугнутые лошади рванули, и плуг вылетел из земли. Стишка плуг вправил, но при этом дернул вожжи, и лошади потянули в сторону, и борозда пошла вилять туда-сюда, как уползающая змея, и Стишка метался возле плуга, рвал вожжи, зло кричал, но выправить борозду не мог, так и легла она уродливой извилиной через все поле.

– А-а, черт тебя в печенку! – крикнул Абросим.

– Не расстраивайтесь по пустякам, товарищ Кравцов, – миролюбиво проговорил Павел Рымарев.

– Это разве пустяк? Примета имеется: чем ровнее, прямее первая борозда, тем удачливее год у хлебороба.

– И вы верите?

– Не о вере разговор. Каждому делу начин должен быть хороший.

Мужики поддержали Абросима:

– Сроду не пахал – берется!

– Вискочка! Каждой дыре затычка!

Услышав эти разговоры, Стишка не смутился, кинул вожжи на рычаги, строго спросил:

– Не глянется борозда? Думаете, оплошал? Нарочно ее извертел, чтобы не суеверничали.

Наперед запомните: о приметах стариковских – ни звука. Иначе вопрос поставлю.

Максиму было неловко за него. Зачем он так, кому это нужно, для чего? Ну не сумел, что делать – признайся, не лезь в пузырь, не выкобенивайся. Лазурька покойник тоже был не ангел, но таких коленцев не выкидывал.

Пахари, понукая лошадей, въезжали на загон, к первой борозде прилегла вторая, ко второй – третья, все шире становилась полоса пахоты и все незаметнее кривулины, накрученные Стишкой. В начале гона остались втроем: Максим, Стишка и Павел Рымарев. Максим не утерпел, упрекнул Стишку:

– Зря так делаешь. Противно. Не мог – не увиливай, признайся. А то – суеверность... Тьфу!

– Ты меня не учи! – огрызнулся Стишка. – Ну, дал промашку... Так что же? Авторитет свой на подрыв ставить? Тут я и партии, и нашей власти – лицо. Это тебе не понятно?

– При чем тут партия, власть? – разозлился Максим.

– Товарищи! Не надо спорить. Очень прошу вас – не спорьте! – быстро и вроде как испуганно заговорил Павел Рымарев.

И они замолчали.

Так начиналась артельная жизнь.

## Часть вторая

### I

Устинью, зазнобу свою бывшую, выходит, он совсем не знал.

Думал, зачнет она задаваться, куражиться, цену себе набивать – зря думал, зря ожесточал себя, готовясь к разговору.

Пытливо вглядываясь в его недоброе лицо, она спросила с печальной прямоотой:

– Вроде бы снова к Насте хотел?

– Было... – неохотно признался Корнюха.

– А к Верке Евлашихе что ходил?

– По пьянке...

– Ну? – В глазах Устиньи вспыхнула и тут же осела насмешка. – Я все понимаю...

Чувствовал Корнюха: многое осталось недосказанным, но оставил этот разговор. А потом пожалел...

Вдова, по обычаю семейщины, могла выйти замуж не раньше чем через год после смерти мужа. Устинья, не очень-то соблюдавшая старинные установления, тут не захотела идти против порядка. Корнюха пока что поселился в зимовье на задах двора – наемный работник. Не по душе это было Корнюхе: опять шаткость, неопределенность, ожидание. А тут еще Хавронья донимает тайком от дочери.

– Душегуб! Сатана! Идолище поганое! – шепчет блеклыми губами и неотступно следит за ним враждебным взглядом; будь ее воля, близко к дому не подпустила бы.

Покорностью, смирением хотел Корнюха смягчить ее сердце, но старая баба, видать, вообразила, что он ее боится, – совсем невыносимой стала, проходу не дает, больно, как крапивой по голому задку, жалит ядовитыми словами. Не стерпел Корнюха, тихо, чтобы Устинья не слышала, сказал, глядя прямо в глаза:

– Ты, старый мешок с отрубями!.. Будешь вонять, кикимора болотная, отправлю вслед за сватом и зятем!

С тех пор Хавронья – ни гугу, помалкивает и старается попадаться ему на глаза как можно реже.

Вечером в зимовье приходила Устя, ставила на стол ужин, смотрела, как он ест, молчала. И он тоже молчал или говорил о каких-нибудь пустяках. Все было не так, как на заимке. И Устинья стала другой, и он тоже. Что-то оба они потеряли.

Ему становилось ясно, что, если все пойдет и дальше так же, ничего у них не получится. Надо было что-то делать. А что? Он ломал над этим голову, с ненавистью вспоминал свадебную застольицу, Устю, нарядную, красивую. Молодого Пискуна рядом с ней – прилизанного, розовенького. Попробуй выскреби все из памяти! Проклятые мироеды! Даже из могилы жить мешают! А она обычай блюдет. Ради кого?

В этот вечер он поздно вернулся с поля. Устинья уже ждала его в зимовье. На столе стояла чашка с квашеной капустой, сковородка с яичницей. Быстро поужинав, он встал из-за стола.

– Слышь, Устюха... – Нахмурился. – Такое дело... Или ты оставайся тут, или я смотаю свои манатки. Надоело!

– Уйдешь? – Она с вызовом взглянула на него. – Уйдешь? А вот и нет!

– Дура! – Корнюха сдернул с нар мешок, запихал в него свое убогое добришко.

Устинья защелкнула крючок на двери, погасила лампу, засмеялась в темноте.

– Я уже думала, ты не мужик вовсе.

Она обнимала Корнюху, жадно целовала; обессилив, раскинула руки и лежала с открытыми глазами, смотрела в потолок, ополоснутый светом луны, тихо удивлялась:

– Господи, как это все по-другому! А до этого... Я ить жизни своей не рада была. Обрехала себя на муку...

– Нашла о чем...

– Молчи! – одернула она его, села. – Все из-за твоего двуличья! Ну и не подумала... Кто бы знал, до чего он постылым был! Худотелый, мокрогубый...

– Не говори о нем! – угрюмо попросил Корнюха.

– А кому же я еще скажу? Нет, ты слушай и знай. Бывало, как подумаю, что он будет меня всю жизнь поганить... удушить хотела. Ей-богу! Ты меня опередил. Взял на себя грех. Мой грех. За одно это мне надо твоей быть. – Устинья наклонилась над ним. Распущенные волосы, поблескивая, стекали с плеч, затеняли лицо, и зеленые ее глаза казались темными, будто вода в глубоком колодце.

После этого вечера все стало на свои места. Корнюха перестал тревожиться. Возвращаясь с полей, он поджидал Устинью на завалинке зимовья. За пряслами гумен голубели озерца, и в них нестройным хором квакали лягушки; над головой резали воздух острыми крыльями быстрые стрижи; тонким звоном заполняли воздух комары. На душе Корнюхи покой, негромкая радость баюкает сладкие думы. Кончились мытарства, жизнь повернулась к нему мягким боком. Все есть для работы. На гумне побрякивают колокольчиками сытые кони, под сараем висит сбруя из новой крепкой кожи, возьмешь эту сбрую в руки, она вся поскрипывает; зайдешь в амбар, в завозню – теснота от несметного добра, и глаз ласкает смолистая белизна крепких стен, и хмелеешь от мысли, что всему этому ты, считай, хозяин. Живи беспечально, множь добро трудом, и беды-напасти обойдут тебя стороной.

Но покой Корнюхи был недолгим.

За малое время он так освоился с хозяйством, что знал наперечет, сколько чего есть, что где лежит. И вот стал замечать: убывает добро. Были две дохи – осталась одна, в кладовке висели новые юфтевые ичиги – нету. Грешил на Хавронью: по дурости прячет старая от него; исчезло из завозни железо на ходок, заподозрил неладное, спросил у Устиньи:

– Ты отдала поковку?

– Я. А что?

– Кому отдала?

– Был тут Мотька, родич Пискуна.

Услышав этот разговор, Хавронья из сеней высунулась, наострила уши.

– А кожи дубленые? А дохи? – допытывался Корнюха.

За Устинью ответила ее мать:

– Отдала! Всех ублажить захотела!

Сейчас только Корнюха сообразил, почему так часто, так охотно наезжали в гости к Устинье бесчисленные родственники Пискуна. Приедут, пьют чай, на жизнь жалуются; у кого малых ребят шибко много, у кого долгов, у кого кобыла худая, у кого баба больная; кто правду говорит, кто брешет без зазрения совести, а Устя, слова не молвя, сует им, что под руку подвернется. Пустоголовая! Больно сердцу делается, как подумаешь, сколько успели урвать загребуемые руки... Если и дальше будет Устинья так одаривать – обнищает, запустеет хозяйство. Конечно, родню Пискуна привечать надо, чтобы вреда от нее не было, но не так же!

– Негоже это! Простота бывает хуже воровства.

– Во-во! – подхватила Хавронья. – То же ей баила.

– Помолчи-ка ты, помолчи!.. – с досадой отозвалась Устинья.

– Твоя мать правильно толкует.

– И ты туда же? – невесело качнула головой Устинья. – О чем жалеешь, Корнюшка? – Она перебирала на груди монисты из цветных стекляшек, будто горсть искр пересыпала на груди,

и так быстро, резко двигались ее руки, что казалось, искры больно жгут ладони. – Ненавистно мне все ихнее! За что ни возьмусь – ложка, вожжи, лопата, – все Агапку и старика напоминает. Все раздам до последней тряпицы. Наживем свое, не убогие.

Корнюха ошарашенно молчал. Ну и ну! «Раздам»... Должно, не наломала себе хребтину, хлеб добывая. Ты сначала повыгивайся, как все прочие, раз-другой в дураках останься, как он оставался, тогда поймешь, что к чему, тогда своим умом дойдешь: Пискун – одно, а шуба его – совсем другое.

Пожалуй, он все это ей бы и высказал. Но за спиной Устиньи ее мать жестами рук, каждой морщинкой своего лица просила: «Тише, парень, тише!» Не понимая, куда клонит старуха и с чего так ретиво в это дело лезет, он сбился с толку, промямлил:

– Чужое, оно, конечно... Свое – да... завсегда у сердца.

Хавронья радостно моргает – так, парень, так.

– Слава богу, что понимаешь. – Устинья недоверчиво взглянула на него. – Не ради блажи я, Корнюшка. Заводи свой дом. Чтобы каждый гвоздь в нем – наш. Совсем другая жизнь в нем будет.

Позднее, когда он остался один, неслышно подошла Хавронья, зашептала:

– Ты Устюхе потакай покамест. Не то взбрыкнет – не уломаешь.

– А тебе-то что! – сорвал на ней злость Корнюха.

– Не лайся! Добра желаю. Душегубец ты, антихрист окаянный, но в хозяйстве старательный. И назад уж ничего не возвернешь. Так для чего нам с тобой собачиться?

– Слава богу, образумилась! – съязвил Корнюха.

– Боялась я, мужиков уколошил, хозяйство заграбастаешь, а мы с Устюхой по миру. Теперь удостоверилась, не мыслишь нас отпихнуть.

Родня Пискуна по-прежнему время от времени наезжала в гости и по-прежнему Устинья одаривала ее с неумейной щедростью. Хавронья каждый раз доносила:

– Были, ироды. Двух поросят увезли. Опять приезжали. Самовар отдала.

Она вздыхала, охала, оглядывалась по сторонам, шепотом спрашивала:

– Что будет-то?

А Корнюха только сопел от сдавленного раздражения. Попробовал внушить Устинье, что неладное это дело – горлохватов одаривать.

– Может быть, – согласилась она. – Хочешь, в сельсовет сдадим?

Корнюха стиснул зубы, чтобы не выругаться. «Праведница, тудыт твою так! Нет, с тобой тут каши не сварить. Надо ближе к старухе держаться».

– Ты, мать, – слово «мать» туго сошло с языка, – подскажи. Пока не все рассовала твоя доченька, надо с ней что-то делать.

– Ничего с ней не сделаешь. Отцовского характеру девка. А какой у ней отец был, я сказывала. Надо так... Что продать, что припрятать, что взаймы отдать. И дом другой то ли купить, то ли построить. Будем в согласье с тобой, она ничего не узнает.

Пораскинув умом, Корнюха решил: верно подсказывает старая. Только так и можно убереечь кое-что из дарового добра. Но чтобы никакой промашки не вышло, надо немедленно в сельсовете заявить, что они с Устиньей – муж и жена, что он теперь тут голова всему. А то мало ли какая незадача...

В сельсовете, прежде чем выправить бумаги, Стишка Белозеров пожелал сказать Корнюхе с глазу на глаз пару слов. Устинья вышла (заборкой из кулацкого дома председатель выгородил в сельсовете угол для себя, у дверей посадил секретаря Совета Ерему Кузнецова – порядок не хуже, чем у городского начальства), Белозеров, притворив дверь кабинета, неприятным взглядом впился в Корнюху:

– Ты для чего Пискунов прихлопнул?

– А то не знаешь?



– Слух ходит, порешил Пискунов из корысти: бабой завладеть, хозяйство захватить – правда? – Взглядом своим Стишка так и влазил в середку, так и целился выведать все, что от других скрыто.

– Баба, что ли, слухи ловишь?! – вскинулся Корнюха.

– А если от них урон нашему делу? – Стишка сел за стол, наклонился над бумагами, на макушке гребнем топорщился русский вихор. – Я не против – живи с ней. Но сразу же вступай в колхоз, сдай кулацкое барахло.

– А не вступлю?

– Тогда на тебя, как на кулака, советская власть даванет всей революционной силой.

Ноздри широкого носа Корнюхи раздулись, побелели.

– На меня даванет? Это видишь? – показал квадратный, тяжелый, как кувалда, кулак. – Позабыл, кто власть твою завоевывал?

– Кабы забыл, разговор иной был... А теперь зови свою бабу. И помни о сказанном.

Устинья ждала на крыльце. Глянув на его пасмурное лицо, встревоженно спросила:

– Что он тебе говорил?

– В помощники звал. Едва отбрыкался.

Дома Хавронья заставила их встать перед божницей и попросить у Господа прощения за вину перед ним, попросить благословения на совместное житье. Она всплакнула, припадая к полу головой в тяжелой кичке. Устинья широко, размашисто крестилась, шевелила полными губами и отрешенным взглядом смотрела на тусклую позолоту икон. Корнюха не молился. В голове занозой сидело предостережение Задуря.

Потом Хавронья выметала на стол стряпню, разлила в стаканы прозрачную, с сизым отливом самогонку. Все получилось пристойно, по-семейному, одного лишь не хватало за столом – радости.

Вечером впервые поспорил с Устиньей. Сидел на завалинке у зимовья. Середь двора мерцал огонь дымокура, под сараем сонно посапывали коровы, телки. Корнюха молча курил. Вдруг она спросила:

– О чем ты все время думаешь?

– Будто не о чем?

– Да ну? – За насмешливым восклицанием угадывалась возрастающая обида на него.

И уловив эту обиду, он сердито ответил:

– Кто же за меня думать будет? Тебе бы тоже не мешало мозгами пошевелить. Песенками сыта не будешь.

– Чудной ты, Корнюшка, – вздохнула она, – чудной. С одной стороны поглядеть – орел, с другой – петух, да и то порядком ощищенный.

– Я хоть с одной стороны орел. А ты со всех сторон кукушка. – Корнюха поднялся. – Надо сходить к Максюхе. Ты пойдешь со мной?

– Нет.

Устинья, видать, совсем разобиделась. А пусть. Маленько попыхтит да перестанет. Не до ее обид. Надо проводить у брата, можно ли увернуться от колхоза. Зачем он ему теперь, колхоз?

Во дворе родительского дома тоже горел огонь. На бревнах возле огня сидели Максим и Татьяна, готовили ужин. Пахло пригорелой кашей и топленным молоком – запахи дальнего детства. Татьяна, увидев деверя, поспешно одернула сарафан, скрывая круглый выпуклый живот. Максим помешивал палкой угли. Отсветы огня ложились на лицо, резко выделяя скулы, туго обтянутые загорелой кожей.

Здесь же, у огня, Татьяна наладила ужин. Поковырявшись в каше, Корнюха положил ложку:

– Что-то уж больно постные колхозные харчи, Максюха?

– Какие ни есть – свои, – поддел его брат. – И приправа к харчам добрая – надежда. Заживем еще. Слышал, скоро у нас тракторы будут. Ты-то как, заявление не написал?

– Торопиться мне некуда.

– Конечно, к чему торопиться. Но и ждать нечего. Единоличнику пришел конец.

– А почему конец? Как хочу, так живу. Ты колхозник, я единоличник – мешаю тебе? Не мешаю. Зачем же всякие принуждения? Почему единоличник вроде пасынка у власти?

– Он пасынок и есть. Колхозник старается для всех, единоличник только для себя. Тут корень всего. – Максим облизал ложку, выпил стакан молока, развернул кисет. – Ты, братка, не вилай туда-сюда. К хорошему это не приведет.

Корнюха и вовсе пал духом. Вот она, жизнь, язви ее в душу. Поманит пальцем, рот разинул, а тебе – раз по зубам. Кабы не колхоз... Устинью с помощью тещи недолго объегорить. Не успеет оглянуться, как пискуновское наследство в надежном месте будет. А вот колхоз... Задурей, он охулки на руку не положит, мигом поверстает с кулаками, и от него ничего не спрячешь – выпотрошит. Но еще посмотрим. Если провернуть дело быстро да с умом, и Задурей, как Устинья, с носом останется.

Однако непросто было незаметно распродать, запрятать немалый капитал Пискуна. Нужно все делать тайком не только от соседей, но и от Устиньи. Правда, ее удалось на целый месяц спровадить в Бичуру к больной одинокой родственнице отца. Корнюхе и теще была полная воля. Но и Стишка Белозеров не дремал. Узнал он что-то или так догадался, но однажды к Корнюхе явился секретарь Совета Ерема Кузнецов с папкой под мышкой, ржавая борода подстрижена, волосы гладко причесаны.

– Имею поручение сделать опись имущества.

После кулацкого восстания сбылась давнишняя мечта Еремы, снова он сел в сельсовет, правда всего лишь секретарем, но и этим был донельзя доволен.

События памятной Корнюхе ночи Ерема ловко обернул в свою пользу. Оказывается, это по заданию Лазаря Изотыча он влез в кулацкий стовор, вывел злоумышленников на чистую воду, раненый, истекая кровью, защищал сельсовет рядом с председателем и даже после гибели Лазаря отстреливался, и лишь когда кончились патроны, спрятался под полом. За геройское поведение Ерему наградили карманными часами; не меньше, чем наградой, гордился он своей раной, с полгода носил руку на перевязи, хотя всем было известно, что рана давно зажила.

Попервости Корнюха хотел уличить его в брехне, потом плюнул – пусть тешится, если любо.

В переднем углу за столом Ерема раскрыл папку, полную бумаг. Хавронья при виде бумаг вся сомлела от страха, а когда Ерема еще и очки на нос насадил, она бегом выскользнула за двери – от греха подальше.

– А как насчет чайку и стаканчика первача? – Корнюха, казалось, готов был сломя голову бежать куда угодно, чтобы выполнить даже малейшее желание гостя.

– При исполнении служебных обязанностей не потребляем, – с вежливой неприступностью отклонил угощение Ерема. – Сколько у вас баранух?

– Восемнадцать, Еремей Саввич. – Корнюха сел возле него на краешек лавки.

– Чего? – блеснул очками Ерема. – Чего мелешь? Двадцать шесть баранов. Меня не проведешь, я все знаю. Не советую родимую нашу власть обманывать.

– Умные слова говоришь, Еремей Саввич. Нельзя обманывать... А есть, – Корнюха понизил голос, – которые думают: можно. Знаю мужичишку – ох и жук!

– Доложи Стефану Иванычу. Он из того жука моментом козявку сделает. – Ерема сдержанно хохотнул, и тут же его лицо построжало. – Я тоже власть. Могу взыскать не хуже Стефана Иваныча. Кто на примете? Чем занимается?

– Обманством занимается... Одно время с кулаками путался, нож наострил на нашу родимую власть. Потом выкрутился, дескать, особое задание ему было дано. Вот подлец!

Теперь награды получает, на хорошей должности сидит... А ты, Саввич, что так потеешь? Если жарко у нас, окно распахну, – откровенно зубоскалил Корнюха.

– Мне ведь что... Я ведь ничего...

– Раз ничего – пиши. Баран, значит, пятнадцать.

– Ты же говорил восемнадцать.

– Хватился! Пока мы с тобой тары-бары разводили, три штуки сдохло. Ты пиши, что тебе говорят. И Задурею своему втолкуй: одрябло хозяйство. Корнюха, мол, недавно в доме, а баба его – всем известно, будто курица, от себя гребет. Пискуновская родня все растащила.

– Самораскулачивание припишут, Корней Назарыч! – Очки съехали на кончик носа, глаза Еремы, в рыжих ресницах, жалко помаргивали, в них была растерянность и тоска.

– Ничего! – сжалился над ним Корнюха. – Все будет как надо. Пискун, ты знаешь, незадолго... перед тем самым... молотилку купил. Скажи Стихе – добровольно сдаю. Всю сохранную, с запасными частями. И все другое колхозу достанется. Когда запишусь. А про жучка я только тебе сказал. Будь умницей, и никто ничего не узнает.

Проводив Ерему, Корнюха позвал тещу, приказал:

– Ну, старая, запрягай Серка и жми на все лопатки к своей родне. Все, что в опись не попало, надо распродать, в долг отдать, променять.

Побаивался Корнюха: сболтнет Ерема или не поверит ему Белозеров – шиш достанется. Но все вышло ладно. Молотилку со двора увезли. Сам председатель колхоза Павел Рымарев приезжал, а с ним – Тараска Акинфеев, раздобревший до того, что глаза заплыли, остались одни щелочки – ну прямо кулак, какими их рисуют в газетах. Оба, председатель и Тараска, в колхоз его звали. Рымарев ловко, умно говорил про общую жизнь, но уважения к его словам у Корнюхи не было. В душе он посмеивался над ним: захомутала Верка Евлашиха, открыто бабой его зовется и, слух есть, в руках крепко держит.

Но и без гладкой речи Павла Рымарева Корнюха понимал, что колхоза не минует. Теперь, когда чуть ли не половина капиталов Пискуна у него в кармане, можно и в колхоз. В случае чего подпора всегда есть. Оно и не без выгоды можно будет записаться. Устинья в доме Пискуна жить не желает. Продать его власть не даст. А если сдать в колхоз и получить взамен другой, поменьше, похуже, но чтобы и для Устиньи и для него он был своим, собственным?

– В колхоз я пойду, – сказал он. – Но до того с житейством определиться надо. А может, вы мне сменяете дом?

– Вас из этого никто не гонит. – Рымарев окинул взглядом кружевную резьбу наличников. – Славное строеньеце.

– Такой дом и менять! – удивился Тараска Акинфеев. – Ошалел?

Корнюха не сдержал вздоха. Разве попустился бы он этим домом, но Устинья!.. Не уговоришь, не уломаешь бабу упрямую, вредную.

– Нет, – вздохнул еще раз Корнюха. – Такая казарма на троих – куда она?

Без особой волокиты дом ему обменяли. Дали усадьбу сосланного после восстания Наума Ласточкина. Тоже ничего усадьба, не новая, но справная вполне. И все же до смерти было жаль съезжать с пискуновского двора. С чувством невосполнимой утраты закрыл Корнюха за собой тесовые, железом окованные ворота. Одно было утешением: небольшое оставил за этими воротами. Сумел развернуться. Устюха ни о чем не догадалась, глазастый Стишка Задурей ничего не углядел – во как надо дела делать. Теперь жить можно, а если с умом – хорошо жить можно.

## II

С начала страды Максим почти безвыездно жил на полевом стане, лишь однажды отлучился на два дня. Это когда сын родился.

Весть о рождении сына привезла Настя, с недавних пор – стряпуха полевого стана. Каждое утро она приезжала из Тайшихи варить колхозникам обед. Когда ее телега подкатывала к току, работа останавливалась. Настя раздавала мешочки с домашними харчами, рассказывала о деревенских новостях. В этот раз она, еще не остановив лошадь, окликнула Максима. Прихрамывая он подошел к телеге. Настя улыбалась:

– Ну, кого ждал?

– Сына, конечно.

– А может быть, дочку?

– Не тyani!

– Сын у тебя, Максюха, сын. Татьянка, слава богу, ничего. За ней тетка Степанида приглядывает.

У телеги собрались колхозники. Лучка Богомазов подмигнул Максиму:

– И у тебя сын! Молодцы мы с тобой, а? – Лучкина кудрявая борода была забита мякиной, иглами ости, лицо в пыли, серое, только зубы блестят свежо и весело. – Ведро водки с тебя!

А Паранька Носкова, баба языкатая, мастерица на всякие шуточки, с серьезным видом спросила:

– Как сумел с первого раза – парня? Поучи моего охломона, а то одни девки получают. Максим молча улыбался.

Домой он поехал верхом, напрямую, по жесткому, шелестящему под копытами коня жнивью. За полями теснились сопки, округлые и присадистые, как копны сена. На их склонах белели метлы дэрисуна, в ложбинах осыпали листья кусты волчьих ягод, а над сопками по-летнему горело солнце, высветляя каждую травинку, сверкающим шитьем паутины простегивая бурьян на меже. В орогожевшей траве изредка голубели цветы подснежника, неожиданные, вызывающе яркие среди гаснущих красок осени. Нечасто зацветает подснежник в эту пору...

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.